

КИРИЛЛ
ФОКИН

ЖИЗНЬ
ЛЕНРО
АВЕЛЬЦА

Кирилл Валерьевич Фокин

Жизнь Ленро Авельца

Серия «Ленро Авельц», книга 1

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69733222
Кирилл Фокин. Жизнь Ленро Авельца: ОГИ;
ISBN 9785942828950

Аннотация

Недалёкое будущее. Старая ООН превратилась в Организацию, полноценное мировое правительство, но так и не смогла стать панацеей от бед человечества. Государства не торопятся отдавать свой суверенитет на фоне глобальных катаклизмов. Китай опустошён техногенной катастрофой. Африка погрязла в междоусобицах. На Ближнем Востоке окопалось Исламское Государство. Вспыхивают восстания и появляются технорелигии, власть уходит в руки всесильных корпораций, а выборы выигрывают фундаменталисты. Северный Альянс – союз США, России и Европы – задыхается от внутренних проблем. Национальный лидер города-государства Шанхая, преподобный Джонс, со дня на день грозит начать ядерную войну. Ленро Авельц – авантюрист, лицемер и циник, наследник огромного состояния и радикальный глобалист. Окончив Политическую академию Аббертона, он заступает «на службу человечеству» и начинает свой путь наверх – к высшим

постам в Организации, в перспективе означающим абсолютную власть над миром.

Содержит нецензурную брань.

Содержание

Действующие лица	6
1. Шанхай (I)	8
На пути к Шанхаю	30
2. Мистер Авельц-старший	30
3. Аббертон	41
4. Специализация – для насекомых	57
5. Война в Южной Африке	66
6. Армия Земли	85
7. Генерал Уэллс (I)	92
8. Кофе с генералом Уэллсом	100
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Кирилл Фокин

Жизнь Ленро Авельца

ОГИ

С победой демократии не победит свобода.
Энсон Р. Карт

*...Говорю вам: нынешнее состояние общества
нестерпимо и обречено на уничтожение. Быть
может, это задача для театра – но, вернее, для
пулемета.*
Антонен Арто

Действующие лица

Ленро Авельц – мемуарист

Ноэль Авельц – миллиардер, отец Ленро

Академия Аббертона

Энсон Роберт Карт – философ и писатель

Евангелина Карр – директор департамента «Сан Энерджи» в Южном Китае

Корнелия Францен – советник директора ЦРУ

Моллианда Бо – актриса

Организация

Мирхофф – генеральный секретарь

Керро Торре – первый заместитель генерального секретаря

Люций Грейм – заместитель генерального секретаря

Нишант Редди – главнокомандующий Армией Земли

Лидия Гиббс – начальник штаба Армии Земли

Макс Тинкер – председатель военного комитета Генассамблеи

Гелла Онассис – вице-председатель комитета по делам

Особый комитет Организации (ОКО)

Генерал Уинстон Уэллс – руководитель

Паскаль Докери – представитель в штаб-квартире Организации

Ада Уэллс – дочь генерала Уэллса

Друзья и враги

Преподобный Джонс – национальный лидер города-государства Шанхай

Бальдир Санит – президент США

Ихаб Куливи – вождь Исламского Государства¹

Сартадж Хазар Биджарани – сопредседатель Исламской лиги Пакистана

Феосиф – патриарх Русской Неоортодоксальной Церкви

Ювеналий – настоятель Валаамского монастыря

Александр Хейбс – политик-республиканец

¹ Поскольку в книге идет речь об альтернативной истории, упомянутое Исламское Государство не имеет никакого отношения к запрещенной законом террористической организации нашего времени.

1. Шанхай (I)

Когда я шёл на встречу с преподобным Джонсом, я думал, все козыри у меня на руках.

В каком-то смысле так и было – я предусмотрел всё, сам проверил позиции снайперов на ближайших крышах и даже отдал распоряжения на случай, если его святейшество окажется воистину безумен и убьёт меня. Я предусмотрел всё, и даже подлость премьер-министра Худзэ, вдруг передумавшего уходить в отставку, не смогла разрушить моих планов.

Нет, меня сгубил не недостаток осторожности, а скорее избыток благодушия и добрых намерений, которыми, как известно, выслана дорога в ад, – любимый аргумент грешников, предпочитающих побуждения исключительно низкие, не правда ли?..

Преподобный Джонс хотел быть Мартином Лютером Кингом, Манделой, Ганди и Муссолини в одном лице, но вместо свирепого воскресителя Римской империи с квадратной челюстью и громким голосом представлял собой худого богослова-вегетарианца с треснувшими очками на носу.

Я и теперь, спустя столько лет, продолжаю сомневаться: пошёл бы Джонс до конца, если бы я не вмешался? Не сбежал бы при первых выстрелах? не сел бы в тюрьму с этой умили-тельной, всемирно известной улыбкой? не эмигрировал бы в Сеул, Токио или Нью-Йорк, где раздавал бы интервью и

получал правозащитные премии, наслаждаясь святым капитализмом, который так сочно ругал с трибуны на Народной площади?

Трагедия случилась позже; сперва был фарс.

Никто не сомневался, что премьер Худзё – вор и популист, в целом очень тупой и толстый боров. Он и руководителем-то никаким не был – так, болтун, поднявшийся на сомнительных сделках с госсобственностью и связях с триадами. Посредник, ширма для настоящих хозяев города, таких же мерзких и бесстыдных, круглосуточно доивших бюджет и бодавшихся без какой-либо внятной цели. Они просто забивали глотку Худзё деньгами каждый раз, когда он её разевал.

Даже в наших кругах я слышал разговоры, что Худзё пора на покой: хватит мозгов – уйдёт сам, нет – с треском пролетит на следующих хоть чуточку честных выборах. Насчёт честности, конечно, Худзё и его клика придерживались особого мнения. Они искренне верили, что народ их любит, коли до сих пор не поднял на вилы. Но уже и Организация, известная своим долготерпением, перестала давиться от смеха и бросала в его сторону скептические взгляды, обещая взять под контроль следующий электоральный цикл. Худзё был обречён.

Не понимаю, чего он боялся. Казалось бы, столь ничтожному человеку, который даже на посту премьер-министра не мечтал ни о чём, кроме новой яхты, ради чего бороться? Конфискуй у него половину имущества – второй половины

хватит, чтобы накормить голодных двух беднейших континентов.

Ясно, когда началась вся эта суматоха с забастовками и митингами, кто из нас не порадовался втайне – мол, Худзё наконец получит по заслугам? И кто не огорчился бы, узнав, что ему приказано встать на защиту этого бездарного существа? Меня подставили – не знаю, от кого исходила инициатива отправить в Шанхай именно меня, подозреваю, то были военные. Они так и не простили мне резолюцию 418/7 и публичную порку на Генассамблее.

Я тогда как раз сопровождал своего начальника, председателя Особого комитета Организации генерала Уинстона Уэллса, в поездке по Средней Азии. Меня донимала жара, и, не буду скрывать, постоянная угроза взрывов не способствует душевному здоровью. Вопли муэдзинов с минаретов, будившие по утрам, лезущая в глаза пыль, навозные кучи на улицах, вонючие ослы и мулы, базарный галдёж и невозможность шаг сделать без армии телохранителей сводили меня с ума. Постоянные перемещения с палящего солнца под выюгу кондиционеров и обратно привели к тому, что у меня начался страшный насморк. Я умирал.

А мой руководитель, генерал Уэллс, носился из пустыни в пустыню и инспектировал военные базы, периодически случайно пересекая границы каких-то псевдостран, и общался с аборигенами так, словно его действительно интересовала их доисторическая скотоводческая культура. Я плёлся за ним,

как раб, как слуга с опухалом. Трясущимися руками я тянулся к каждому стакану воды в поле зрения и, чихая, заматывал лицо влажным платком.

На третий день пребывания в Афганистане я пришёл к выводу, что британская, российская, советская и американская империи неслучайно, захватив полмира, проиграли здесь. Помотавшись семь-восемь часов по Кандагару, лёжа в корке пота и грязи в ветхой гостинице, оцепленной танками и бэт-эрами, с ржавой тёплой (тёплой!) водой из не менее ржавого крана, под неотключаемым сломанным кондиционером, человек терпит полный экзистенциальный крах.

Все триумфы разума, все взлёты человеческой цивилизации, весь ребячий восторг от видов Манхэттена и экодолин Калифорнии, космодромов и взмывающих в небо ракет, заполярных станций, атомных ледоколов и батисфер; шедевры Возрождения, сонеты Шекспира и сады Семирамиды, Эсхил и Лунная станция, «Набукко» Верди и Магна Карта, и Омар Хайям, и буддийские монастыри в горах Тибета, и отважные африканеры, мчащие на лендроверах по саваннам, – всё, что заставляет сердце биться, рассеивает мрак Вселенной и зажигает маяк смысла, – всё сокрушают босые попрошайки Джелалабада, тяжёлый взгляд погонщика овец и запах от его отары.

Иными словами, когда Уэллс меня вызвал и приказал немедленно взять его самолёт, лететь в Шанхай и навести там порядок, я воспринял это не как наказание (о чём ду-

мали мои враги) и не как шанс проявить себя (о чём думал Уэллс), а как счастливую возможность вырваться из этой генины отчаяния.

Поднявшись в воздух и помахав рукой Кабулу, я первым делом принял душ. Приятно всё-таки стоять под струями чистой воды и не бояться, что она вдруг закончится, изменит цвет или превратится в кипяток.

Мы летели над Индией. Прямо по курсу вставало солнце, красавица стюардесса принесла мне завтрак, и я сидел в халате, чистый и гладко выбритый, истративший, наверное, полфлакона увлажняющего крема и четверть флакона парфюма, ел омлет с трюфелями, пил чёрный кофе и думал: Господи Боже Всевышний и Всемогущий, как после этого я могу не верить в Тебя и не славить Имя Твоё?..

После выяснения отношений между пуштунами и хазарейцами что угодно показалось бы мне простой задачей, даже Маргарет Тэтчер обратиться в коммунизм; что и говорить о беспорядках, длившихся в Шанхае всего-то последний месяц. Доедая завтрак, выбирая костюм, галстук и рубашку, я думал: задача – проще не бывает.

Мои познания о премьерере Худзэ исчерпывались тем, что он коррупционер и проходимец; того, что он повредился рассудком, создал тайную полицию и отдал приказ ломать руки и ноги своим критикам, я не знал. Естественно, его тайная полиция напоминала скорее отряды хунвейбинов, чем гестапо, – и «тайным» в ней оставался разве что смысл существо-

вания. В замешательстве было не только ОКО, но даже ЦРУ, а этих ребят непросто удивить.

Гангстеры Худзё избивали журналистов, срывали муниципальные выборы, похищали активистов. Всё бы обошлось – да только тесть Худзё, великий человек, возглавивший эту шпану, решил наехать на одну транспортную компанию, топ-менеджеры которой отмывали деньги через шанхайский порт. «Тайные» полицейские нагрянули туда и учинили погром, в результате которого погибли трое рабочих. Их тела спрятали и почему-то не выдавали семьям, полиция развела руками, пара десятков человек пришли в порт на митинг, их разогнали водомётами. Сеть взорвалась. Худзё пригрозил отключить её, но, понятное дело, не отключил.

В результате сто тысяч человек вышли на Народную площадь и потребовали отставки правительства, перевыборов в парламент и правды о событиях в порту.

Мафия, правящая городом-государством, переговоры вести отказалась. Полиция получила ордера на арест лидеров профсоюзов, начались беспорядки, за водомётами в ход пошли резиновые пули. Волнения не прекращались. Город и лично Худзё теряли миллиарды.

Когда полиция начала наступление на Народной площади и взяла протестующих в клещи, появился он.

Преподобный Джонс.

Он нёс на руках маленькую лысую девочку, раковую больную, у родителей которой не было денег на лекарства. За-

то у них была страховка, аннулированная из-за того, что её отец состоял в портовом профсоюзе, обвинённом в подрывной деятельности. Девочку отказались лечить и буквально выкинули из больницы. Родители взяли её с собой на митинг, не придумав ничего лучше, чем тащить испуганного тяжелобольного ребёнка в эпицентр уличных беспорядков. Конечно, там ей стало плохо, и она потеряла сознание.

И тогда Джонс взял её на руки и вынес к полиции. Он остановился напротив сдвинутых полицейских щитов, напротив скрытых забралами лиц и стучащих о щиты дубинок. Броненосец власти – против одинокого священника в длинной чёрной рясе и в очках. Он стоял и молча смотрел на них, держа на руках умирающую девочку. На ней была белая, испачканная кровью кофта, рваные джинсы и только один розовый кед. Эту фотографию показали все мировые СМИ. Для многих она превратилась в икону, такую же, как тот китаец перед танками на площади Тяньаньмэнь.

Полицейские их пропустили. Джонс прошёл. Куда? Удалось ли спасти девочку? Что случилось с ней дальше? Никого не интересовало. Когда Джонс вернулся на площадь, разведя полицейское оцепление руками, словно море, он уже превратился в легенду и символ протеста.

После выяснения отношений между пуштунами и хазарейцами что угодно показалось бы мне простой задачей, даже Маргарет Тэтчер обратиться в коммунизм; что и говорить о беспорядках, длившихся в Шанхае всего-то последний ме-

сяц. Доедая завтрак, выбирая костюм, галстук и рубашку, я думал: задача – проще не бывает.

Мои познания о премьерe Худзё исчерпывались тем, что он коррупционер и проходимец; того, что он повредился рас­судком, создал тайную полицию и отдал приказ ломать руки и ноги своим критикам, я не знал. Естественно, его тайная полиция напоминала скорее отряды хунвейбинов, чем геста­по, – и «тайным» в ней оставался разве что смысл существо­вания. В замешательстве было не только ОКО, но даже ЦРУ, а этих ребят непросто удивить.

Гангстеры Худзё избивали журналистов, срывали муниципальные выборы, похищали активистов. Всё бы обошлось – да только тесть Худзё, великий человек, возглавивший эту шпану, решил наехать на одну транспортную компанию, топ-менеджеры которой отмывали деньги через шанхайский порт. «Тайные» полицейские нагрянули туда и учинили погром, в результате которого погибли трое рабочих. Их тела спрятали и почему-то не выдавали семьям, полиция разво­дила руками, пара десятков человек пришли в порт на ми­тинг, их разогнали водомётами. Сеть взорвалась. Худзё при­грозил отключить её, но, понятное дело, не отключил.

В результате сто тысяч человек вышли на Народную пло­щадь и потребовали отставки правительства, перевыборов в парламент и правды о событиях в порту.

Мафия, правящая городом-государством, переговоры ве­сти отказалась. Полиция получила ордера на арест лидеров

профсоюзов, начались беспорядки, за водомётами в ход пошли резиновые пули. Волнения не прекращались. Город и лично Худзё теряли миллиарды.

Когда полиция начала наступление на Народной площади и взяла протестующих в клещи, появился он.

Преподобный Джонс.

Он нёс на руках маленькую лысую девочку, раковую больную, у родителей которой не было денег на лекарства. Зато у них была страховка, аннулированная из-за того, что её отец состоял в портовом профсоюзе, обвинённом в подрывной деятельности. Девочку отказались лечить и буквально выкинули из больницы. Родители взяли её с собой на митинг, не придумав ничего лучше, чем тащить испуганного тяжелобольного ребёнка в эпицентр уличных беспорядков. Конечно, там ей стало плохо, и она потеряла сознание.

И тогда Джонс взял её на руки и вынес к полиции. Он остановился напротив сдвинутых полицейских щитов, напротив скрытых забралами лиц и стучащих о щиты дубинок. Броненосец власти – против одинокого священника в длинной чёрной рясе и в очках. Он стоял и молча смотрел на них, держа на руках умирающую девочку. На ней была белая, испачканная кровью кофта, рваные джинсы и только один розовый кед. Эту фотографию показали все мировые СМИ. Для многих она превратилась в икону, такую же, как тот китаец перед танками на площади Тяньаньмэнь.

Полицейские их пропустили. Джонс прошёл. Куда? Уда-

лось ли спасти девочку? Что случилось с ней дальше? Никого не интересовало. Когда Джонс вернулся на площадь, разведя полицейское оцепление руками, словно море, он уже превратился в легенду и символ протеста.

Отныне именно его осуждающий, но в то же время кроткий взгляд из-под потрескавшихся очков, его тонкие изогнутые губы и сведённые в молитве руки с чётками, его проповеди о том, что индульгенции не выдаются «в зависимости от профессии» и политиков на Страшном суде будут судить той же мерой, что и остальных, – вот что стало главной угрозой старому правительству.

Все поняли, что Худзё время уйти, – все, кроме него самого.

Будучи человеком глупым и озлобленным, Худзё являл собой самый опасный в такой ситуации тип: истерик, неспособный успокоиться, и трус, страстно убеждающий себя, что он – человек принципов. В панике он едва не отдал приказ стрелять. Джонс, продолжавший молча стоять против заграждений полиции и отсвечивать своим серебряным крестом в стёкла бэтээров, пал бы первым – и вознёсся на небо. По крайней мере, в глазах обезумевшей толпы, которая бы ринулась на баррикады и превратила город в кровавые руины.

Повторяю, единственное, что меня интересовало, – какого чёрта Худзё до сих пор не опустошил свои сейфы и не свалил в Венесуэлу? Какая тупая сила заставляла его день за днём

повторять, что он-де «не уйдёт в отставку»? Каждый день его бараньего упрямства делал Джонса сильнее.

Когда я прилетел, преподобный обнаглел уже до такой степени, что отказывался вести переговоры с кем-либо, кроме посредника из Организации. Как смог бы догадаться даже Худзё, этим посредником был я.

Премьер-министр внушал отвращение. Я сомневался в искренности Джонса, но он хотя бы проявлял определённое мужество, и в каком-то смысле я сочувствовал ему. И хотя Уэллс проинструктировал меня, что Организация не желает радикальных перемен (как всегда), я ещё в самолёте решил: с Худзё и его бандитами мы прощаемся.

Тот это почувствовал. Он примчался встречать меня в аэропорт, приехал прямо к трапу самолёта. Я специально долго не выходил, чем свёл протокол с ума, но я хотел сразу поставить его на место.

Было раннее туманное утро. Я медленно спускался по трапу и прямо видел, как извёлся толстый премьер. Костюм весь помятый, галстук съехал набок, глаза красные, одышка. Неприятно, когда двадцатисемилетний выскочка в пижонском приталенном костюме заставляет тебя ждать? Так надо нормально управлять, а не заниматься онанизмом.

Я пожал ему руку, отринув гигиену, и заверил, что всё будет хорошо, но сесть в его машину отказался и поехал со службами ОКО.

В дороге помощники спросили, что ответить Джонсу, и

я согласился на встречу. Сомнений в послушности Худзё у меня почти не было. Несмотря на малоприятные вещи, которыми Организация посылала меня заниматься, несмотря на авгиевы конюшни, которые мне приходилось расчищать, я всегда испытывал приятное чувство от того, что за каждым моим словом – вся мощь Организации. Успокаивает, когда знаешь, что за твоей спиной – самая грандиозная власть, когда-либо распорядившаяся на Земле.

Не поймите меня неправильно: я вовсе не был уверен в успехе. Полномочия, которыми меня наделил Уэллс, меня не опьянили. Отставка Худзё – неизбежность. Отставка правительства и перевыборы – пожалуйста, *vox populi – vox dei*. Реформы – сложнее, это долгая игра, но ради таких задач народы Земли и создали Организацию, так что всё обсуждаемо и всё возможно. А вот судебные процессы над Худзё и его поделщиками, вследствие которых могут вскрыться направления некоторых денежных потоков, – уже другая история, но я легко отыграю её у восставших за счёт остальных позиций.

Моё недоверие к Джонсу и его имиджу бессребреника носило положительный характер. Я подозревал в нём человека умного, не лишённого амбиций, но при этом рационального и твёрдого. С другой стороны, в овечьей шкуре Джонс мог прятать клыки фанатика – и если разумного, то тем более опасного. В пользу этой гипотезы были свои аргументы – он не соглашался говорить на нейтральной территории, а

требовал меня к себе, без оружия и сопровождения, якобы в знак доброй воли. Он мог взять меня в заложники и торговаться уже не с никчёмным Худзё, а со всей Организацией – мечта любого террориста!

Парадоксально, но на руку Джонсу могло сыграть и моё убийство – безотказный триггер эскалации, если он её добивался. Или он мог оказаться больным параноиком – такие часто возглавляют революции – и прикончить меня по прихоти разыгравшегося воображения.

Каждый из этих сценариев равновероятен. Я рисковал, я положился на удачу, – и хоть в ОКО утверждали, что имеют агентов в окружении Джонса и наедине с ним меня не оставят, а снайперы и дроны над площадью будут меня вести, на всякий случай я всё же набросал заявление, где обвинил в своей смерти Джонса, но просил не применять огнестрельное оружие и не разгонять протестующих. Убей он меня – он разрушил бы все идеалы, за которые боролся, и сам бы себя погубил.

Поэтому я не верил, что мне грозит реальная опасность. На переговоры я шёл в приподнятом настроении: священник, решивший стать политиком, – это всегда интересно! Величайший политик наполеоновских войн Талейран, если помните, был епископом. Такие люди тяготеют к театральности, а знание древних текстов и умение напускать на себя глубокомудрый вид – то, на чём прокалывается большинство, – священники впитывают с семинарской скамьи.

Необязательно разбираться в международной торговле или праве, в истории или монетарной политике, чтобы вести за собой людей. Нужно просто внушать уважение. Показывать, что только вы знаете, куда и зачем идти. Здесь знание теологии помогает больше, чем докторская по Кейнсу, а практика проповеди даст фору любым тренингам по ведению дебатов. Неслучайно комплекс Моисея, который в разной форме присущ большинству успешных политиков, назван в честь религиозного лидера. Адольф Гитлер, кстати, тоже страдал этим неврозом – неплохо отомстили ему психиатры-иудеи.

Был ли комплекс Моисея у Джонса? Намеревался ли он возглавить оппозицию, привести её к победе и занять кресло, продавленное весом Худзё?.. Я знал (и я оказался прав) – одного слова Джонса хватит, чтобы протестующие разошлись. Чего я не ожидал – так это новых требований, которые оказались не столь экстравагантны, сколь необычны в предлагаемых обстоятельствах.

Как и было сказано, я прибыл на Народную площадь. Вокруг полиция, кучи неубранного мусора, люди скрывают лица от камер слежения; я шёл сквозь толпу, мимо импровизированных баррикад, мимо зажжённых фаеров, мимо отключённого фонтана – к наспех возведённому палаточному городку. Меня вели крепкие ребята из портового профсоюза, но значок Организации на лацкане защищал меня лучше любого телохранителя.

Джонс вышел из палатки. Я не сразу узнал его – вживую он отличался от того обличителя несправедливости, которого рисовали СМИ. Он протянул мне руку, слегка поклонился и поправил сползшие на нос очки.

– Никак не успеваю поменять, – сказал он, смешно моргая, – знаете, ведь вокруг сейчас нет ни одной работающей аптеки.

О, эти очки. Уже тогда Джонс начал делать из них, двух круглых линз без оправы, где на правой виднелись две маленькие, но заметные трещинки, символ своей революции. Наверное, он обладал даром провидения. А ещё даром убеждения и харизмой – сегодня-то я понимаю, что Джонс точно знал, что делает. Он специально играл роль маленького, но уверенного в своей правде человека. Человека, который никогда не собирался, да и не хотел восставать – но вот упала девочка, и Бог сказал: «Встань и иди».

– Когда я что-то делаю, я просто стараюсь думать, как бы на моём месте поступил Иисус, – сказал он мне, когда мы устроились в его палатке за пластиковым столом. – Хотите воды или чего-нибудь?..

– Да, мы здесь с вами задержимся, – ответил я, оглядывая его скудные запасы на столике в углу.

– У нас есть чай и растворимый кофе.

– Зелёный чай, пожалуйста.

Джонс сам встал, взял два бумажных стаканчика, налил кипятка из термоса и заварил два пакетика зелёного чая.

– Смирился бы Иисус? – продолжил он. – Ждал бы он знака от Господа и молился бы – или обрушил бы своё проклятие на тех, кто довёл нас... Я понимаю, как это звучит.

– Как это звучит? – переспросил я. Джонс поставил передо мной чай и принялся греть руки над своим стаканчиком. Чай был горячий, а мне в шерстяном пиджаке было душно, но после Афганистана я был готов потерпеть.

– Я не хочу крови. Я каждый день молюсь, чтобы не было крови, чтобы люди с площади ушли живыми.

Да, ты уже два раза употребил глагол «молиться», – подумал я, – а ещё намекнул, что понимаешь, что выглядишь в моих глазах фанатиком, то есть таковым не являешься. Ясно. Ничего нового.

– Я скажу им слушаться полицию. Я скажу им, чтобы разошлись, чтобы перестали играть в революцию.

– Это будет мудро с вашей стороны.

– Но я разделяю их гнев. И я разделяю их горе.

– Организация тоже разделяет ваше горе.

– Я хочу, чтобы ОНИ, – его голос ожесточился, – чтобы ОНИ знали: люди возмущены. Люди загнаны в угол. В таком состоянии смерть уже перестаёт казаться самым страшным. Жизнь в аду, который нас окружил, в аду без любви, в аду вранья, это страшнее, это хуже смерти.

Он перешёл на мистический шёпот. Я поймал себя на мысли, что оказался прав на его счёт. Попробовал чай. Не отравился.

Мы говорили три часа и пришли к согласию по всем важным вопросам. Лидеры профсоюзов покидают тюрьмы. Худзё уходит и забирает с собой половину кабинета. Парламент назначает досрочные выборы, а в переходное правительство включаются три представителя оппозиции (сам Джонс, разумеется, отказался). Участникам протестов, как и исполнявшим приказы полицейским, объявляется амнистия – кроме ответственных за нанесение тяжких телесных повреждений, но их дела слушаются в особом порядке. Переходное правительство проводит аудит бюджета и расследует кровопролитие в порту, за решётку отправляется тесть Худзё и его хунвейбины. Но люстраций нет, и никаких ограничений на вывод капитала – негодяй спасёт свои деньги.

Последнюю позицию я внёс впроброс, посмотреть на реакцию, и Джонс немедленно согласился. Прокон. Идеальный борец, несведущий в политике священник отправился бы советоваться с соратниками или потребовал разъяснений. Но Джонсу ни советы, ни разъяснения не требовались.

Наши переговоры прервали на середине. Какой-то припешник вбежал в палатку и тихо сообщил, что всё это обман и Худзё заявил, что уходить не собирается. Джонс кивнул и продолжил говорить со мной.

Много лет я возвращаюсь к той нашей встрече. Я вспоминаю его походку, мимику, манеру улыбаться, положение рук, заикание и то, как он вдруг начал путаться в словах, словно от волнения, и будто бы пытался это волнение в себе по-

гасить... Я понимал, это спектакль. Но думал, он играет от неопытности: только новичок – пусть и талантливый – поверит, что такие фокусы пройдут с эмиссаром ОКО.

Главным трюком Джонса стал самый примитивный из приёмов, какой только можно вообразить, – поэтому он сбил меня и застал врасплох.

– Пока вся суматоха уляжется, пройдёт время, – сказал он, давая мне бумагу. – Здесь список людей, в основном дети, они нуждаются в незамедлительном лечении. Его прервали из-за протестов или из-за того, что у них нет теперь страховки... Очень прошу вас: не могла бы Организация пока оплатить их лечение и взять на себя... Потом, если будет нужно, а лекарства дорогие, я уверен, новое правительство компенсирует, я сам соберу деньги, если будет нужно...

– Думаю, мы с этим разберёмся, – осторожно сказал я, пробегая глазами список. Всего-то двести фамилий – такого бюджет Организации даже не заметит. – Мы это решим.

– Обещаете? Там и та девочка, с которой я... Ну, тот момент, который меня прославил.

– И как вам живётся с этой славой? – решил пошутить я.

– Я согласен на славу, если это поможет спасти её.

– Поможет.

– Можете пообещать мне лично?

– Обещаю вам лично.

Бедный преподобный Джонс, помню, подумал я. Правительство компенсирует, он лично соберёт деньги, а пока, ес-

ли можно, поможет Организация, она ведь должна заботиться о людях, и вы, Ленро, господин Авельц, пообещайте лично, пожалуйста, дайте мне слово... Серьёзно? Взять половину военного бюджета Организации – треть, четверть, да одну десятую! – и бесплатной можно сделать всю медицину мира.

Эти аморальные цифры даже у меня вызывают отторжение. И святой отец гневается, прекрасно понимая, что таков мир и мы не в силах это изменить. Потому на переговорах, посвящённых совсем другим материям, он вдруг вручает мне лично в руки список из двух сотен фамилий – хочет воспользоваться шансом и спасти хотя бы их.

У меня чуть слёзы на глаза не навернулись.

Теперь-то я знаю: это был двойной блеф. Я думал, он хитрец, который играет в идеалиста. А он играл в хитреца. Что ж, значит, в конечном итоге это я остался в дураках. Разоблачи я его тогда, прояви я чуть больше внимания... Кто знает, вдруг я бы смог всё изменить?

Он меня провёл, наш преподобный Джонс, – но кто без греха, пусть бросит в меня камень. В свою защиту скажу, что мои решения не были продиктованы личной симпатией или заблуждениями на его счёт. Окажись на его месте другой революционер – оратор, акула уличной схватки, Троцкий или Кастро, я поступил бы так же.

Из палатки мы вышли вместе. Люди стояли затаив дыхание. Джонс поднял руку и кивнул – и лавина радостных криков обрушилась на нас. Переговоры завершились успехом,

рассерженные толпы победили – Организация их услышала. Я похлопал Джонса по плечу. Он улыбнулся. Странно, я уверен: нас снимали, – но тех фотографий я не видел. Если вам интересно, о чём грезят мои враги, просто представьте это фото с Народной площади, где мы вдвоём с Джонсом, найдите его и подарите им – уверен, они озолотят вас.

Когда я покинул площадь и направился в резиденцию Худзё, где тот окончательно растерялся после звонка генсека Мирхоффа, я думал, это ситуация win-win.

Худзё ушёл, и ещё пару дней я уламывал парламент допустить в переходное правительство хоть пару приличных физиономий. Джонс отказался от поста председателя новообразованной Народной партии и объявил о создании благотворительного фонда, но после долгих уговоров всё-таки согласился выдвинуться от родной окраины как рядовой депутат.

Генерал Уэллс прислал мне из Кабула поздравления и сообщил, что наверху мной довольны. Мне осталось передать дела постоянным представителям Организации в Шанхае, а самому вернуться к повседневной работе. Хвала всем богам (возможно, помогли молитвы Джонса, он ведь обещал молиться за меня), Уэллсу наскучил Афганистан. Он вылетал в штаб-квартиру ОКО в Цюрих и поручил мне подготовить совещание по гражданской войне в долине реки Конго.

У меня появилось нехорошее предчувствие. Свободного спецборта у Организации не оказалось, так что я нанял небольшой самолёт до Цюриха и уже в воздухе стал сочинять

с помощниками максимально оптимистичный прогноз.

Избежать выпаривающей мозги пустыни Средней Азии – только для того, чтобы нырнуть к москитам и в лачуги дикарей, в отличие от афганцев не переживших даже грекобуддизма, а только сплошную бесконечную и беспричинную бойню? Спасибо, нет. «Личное присутствие председателя У. Уэллса и его помощника Л. Авельца не требуется», так и запишем.

Что может быть лучше тихой бумажной работы на борту «боинга», совершающего перелёт от одной агломерации к другой? Как писал автор «Золотой ветви» сэр Джеймс Фрэйзер: *«Настоящему джентльмену вовсе не нужно покидать Остров и общаться с невежественными туземцами, чтобы о них писать»*, – вот это я понимаю настрой.

Как может человек, столь презирающий других людей, и в особенности население далёких регионов планеты, работать в «призванной служить» Организации?

Честно: не знаю.

Бьюсь над этой загадкой последние тридцать лет и никак не могу найти ответа. Я работаю на человечество всю сознательную жизнь и что-то не замечал, чтобы это самое человечество хоть раз меня поблагодарило.

Но я верю в свободу, в разум, в отвагу и честность, в нравственность и верность; верю в правду и красоту, верю в любовь. Я не верю в тупость, невежество, ненависть и раболепие, не верю в тиранию и несправедливость, в ложь и рели-

гиозные догмы. Я верю, что жизнь человека священна и он имеет полное право решать, как ей распорядиться.

В меня стреляли, меня пытались отравить, по моему самолёту пускали ракеты, мою машину взрывали и закладывали мины на пути следования, мою семью брали в заложники, меня разыскивали и преследовали, называли террористом, дьяволом и антихристом, меня проклинали, судили и отлучали, ненавидели, угрожали и стремились убить чаще, чем вы желаете друг другу приятного аппетита.

Однако я жив, здоров и чувствую себя вполне сносно. Писать воспоминания – прихоть, и я искренне веселюсь и даже несколько пугаюсь, но это приятный страх перед новым интересным делом.

Моё имя Ленро Авельц, да, тот самый Ленро Авельц.
И вот что я хочу вам рассказать.

На пути к Шанхаю

2. Мистер Авельц-старший

Я родился и провёл детство на Южном берегу Франции, где Октавиан сражал лигуров, крестоносцы жгли еретиков-катаров, Наполеон громил роялистов в Тулоне, творили Стивенсон, Фицджеральд и Томас Манн, где средиземноморские ветра доносят корсиканские напевы, растворяясь в виноградных садах Ривьеры.

Помните, у Киплинга есть стихотворение о центурионе, отказавшемся покинуть Альбион, когда легионам дали приказ отступить?

Вдоль Родануса вам идти, где зреет виноград,
И клонит лозы бриз, летя в Немауз и Арелат...
Ваш путь туда, где сосен строй спускается с бугра
К волне Тирренской, что синей павлиньего пера.

Киплинг на месте центуриона представлял британца, которому приказали уйти из Индии, – а я вот представляю себя на месте того, кто бросил бы к чертям промозглую Англию, поля вереска и диких пиктов и с радостью вернулся в Рим, к цезарям и авгурам.

Наш дом находился недалеко от Канн. Незадолго до моего рождения отец приобрёл большой участок прибрежной земли и выстроил там свои владения: виллы, конноспортивный комплекс, гольф-клуб и офисные здания сперва для «Авельц Корп.», а затем для своего траста.

Почему Ноэль Авельц решил обосноваться на Лазурном берегу, притом что недолюбливал Францию, я не знаю. Его «официальная» биография всегда вызывала у меня вопросы. Он утверждал, что родился в Дании, в семье разорившихся банкиров, причём по материнской линии наследовал голубоглазым шведам, а по отцовской, коей я обязан экзотичной фамилией, – креольским мигрантам. Его старший брат Кристофер, мой дядя, якобы занимался генетикой, и в молодые годы они создали венчурный фонд и принялись инвестировать в биотех. Дядя проводил экспертизу, а отец обеспечивал финансирование.

Какая удача – вложить деньги в биотех за три года до «генной революции»! Предположим, это заслуга дяди – как учёный он мог понять, что рынок вскоре заполнят дешёвые и практически бесполезные генные модуляторы. Грандиозная афера, обещания исцелить шизофрению, покончить с раком и СПИДом, выбрать сексуальную ориентацию детей и превратить их в гениев – люди потратили триллионы долларов, чтобы в итоге получить доступное средство от выпадения волос и сексуальной дисфункции.

На волне ажиотажа «Авельц Корп.» превратилась из

скромного инвестфонда в крупнейшую компанию сектора. Ноэль и Крис вошли в сотню богатейших людей мира по версии «Файнэншл таймс», но точную оценку их состояния не рискнул дать даже «Форбс». И теперь, много лет спустя после его смерти, я не могу даже примерно сказать, насколько богат он был в те годы.

После гибели брата мистер Авельц-старший получил его долю и недолго думая продал «Авельц Корп.» южнокорейскому конгломерату – подписал сделку буквально за месяц до того, как разочарование в «генной революции» сменилось депрессией.

Произошёл несчастный случай – они летели над ранчо своего приятеля в Техасе на вертолёте, внезапно отказали двигатели, и вертолёт разбился. Дядя и пилот погибли, а отец отделался переломами обеих ног. У него развилась аэрофобия – и в Европу он возвращался на трансокеанском лайнере.

Нет, я не обвиняю отца в смерти дяди – но стоит ли объяснять, что дядя был не в восторге от грядущей продажи «Авельц Корп.»? И нужно ли говорить, что меня не удовлетворяет озвученная версия основания «Авельц Корп.», потому что я не понимаю, откуда безработный Ноэль Авельц взял стартовые двадцать четыре миллиона евро?

Отец до такой степени мистифицировал свою биографию, что на исходе дней, кажется, и сам запутался. Документов практически не сохранилось, а на мои прямые вопросы он

каждый раз отвечал по-разному. Доходило до смешного: он то утверждал, что добился всего сам, а брат ему только мешал, то, наоборот, рассказывал о нём как о провидце с золотой рукой, подлинном вдохновителе «Авельц Корп.».

Вопрос его религиозности тоже оставался загадкой: официально он считался агностиком, но за слухи о своих добрых отношениях с папой зачем-то платил Ватикану; он и клялся на Библии, и отрицал историчность Иисуса.

И ладно бы это была игра на публику! Нет, это шоу – с распятием в спальне, покупными мироточащими иконами, ночными бдениями – он разыгрывал дома. Он никак не мог определиться, во что верит: то ли Господь создал мир и ушёл в отпуск, то ли следит за нами и протоколирует прегрешения; то ли спасение зависит от чтения молитв, то ли молитвы не имеют значения, а важны даже не поступки, а интенции.

Я ещё ребёнком заметил здесь противоречие. Его непоследовательность во всём, от метафизики до автобиографии, можно было бы списать на эксцентричность взбалмошного миллиардера, но, я полагаю, причиной был банальный страх смерти, а ещё усталость и разочарование в жизни. Он просто не мог смириться с тем, что Вселенная неспособна предложить ему ничего сверх того, что он уже имел.

Я появился, когда ему было за шестьдесят и он впервые женился. Не знаю, были ли у него продолжительные связи и внебрачные дети раньше (по крайней мере, прав наследования никто не предъявил), но мою мать он любил. Не потому,

что сделал ей предложение, – это как раз ничего не доказывает.

Но в день, когда она разбилась в автокатастрофе на Ибице, я застал его в слезах.

Как думаете, что он сказал мне, пятилетнему, отняв от заплаканного лица ладони?

– Больше ты такого не увидишь.

Он считал, это должно меня ободрить? Он хотел меня впечатлить?.. Он всегда разговаривал со мной на равных. Откровенно о смерти и о сексе. Единственная константа в этом полном противоречий человеке – отношение к сыну: любовь, смешанная с родительской завистью.

Уверен, он хотел бы родиться мной. И потому постарался дать мне идеальное, как он сам это понимал, детство. В поместье на Лазурном берегу он возвёл для меня стеклянный дворец, окружил гувернёрами и учителями. Первые четырнадцать лет моей жизни, вплоть до поступления в Академию Аббертона, прошли там.

Я скакал на лошади вдоль линии прибоя, играл с родителями (пока жива была мама) в гольф на лугах Прованса, шёл на яхте к Сицилии и взбирался на обрывистый берег, изображая английского солдата, прибывшего освободить Италию от фашистов.

После катастрофы отец боялся полётов, поэтому все мои ранние путешествия ограничивались югом Франции, севером Италии, Швейцарией и островами Западного Средизем-

номорья: мы часто ездили в Канны, в Тулон и в Ниццу, гуляли в Альпах и пересекали Люцернское озеро на пароходке, кормили голубей перед Миланским собором и обошли Семихолмие Рима. Венецию, к сожалению, я не застал – вода забрала и Сан-Марко, и Дворец дождей; но Флоренцию и Тоскану я полюбил сразу и люблю до сих пор, и дорогу Аппия, и акведук на фоне закатного солнца...

Когда я подрос, отец стал брать меня на север – в Нормандию, Бретань, Нидерланды и Данию – и всегда проездом через Париж.

Париж выглядел другой вселенной. Пёстрая масса людей, мешанина цветов и народов, суматоха, отсутствие тишины, громоздящиеся друг на друга здания и узкие улочки, где в пробках стоят даже велосипедисты, а воздух тяжёлый и душный, – запретный плод сладок, и я захотел переехать туда. А уж побывать в настоящей агломерации, вроде Токийской, Нью-Йоркской или Шанхайской, казалось несбыточной мечтой.

Как, должно быть, интересно, размышлял я, жить там, где неведома сама идея скуки, а времени читать или смотреть кино почти не остаётся – разве что на огромном экране, не в интимном одиночестве, а вместе с сотней незнакомцев!..

Впервые я сел в самолёт в семнадцать – и сразу влюбился. Без смога агломераций и судорожных ночных перелётов я не представляю свою жизнь. Но отдам должное фобии отца: благодаря ей моё знание мира не стало фрагментарным.

По Европе я путешествовал как в старые века: видел каждый город и каждую гору, каждый памятник вдоль дороги, каждый полуразрушенный замок.

В этих поездках со мной всегда был отец. Отец и его уроки, преподанные на заднем сиденье машины и в купе поездов. Я мало что помню из его бессвязных речей: он либо говорил о себе (больше врал), либо разглагольствовал о жизненном пути, о том, что я не должен его разочаровать или подвести, что никогда не должен сдаваться, что должен бороться за то, во что верю, и так далее и тому подобное, список продолжите сами.

– Ты добьёшься большего, Ленро, – утверждал он, сидя во главе нашего громадного обеденного стола и ужиная стойком, и чтобы задать вопрос, уточнить, чего же «большого» я обязан добиться, мне нужно было напрячь всю мощь детских связок. – Я верю в ваше поколение.

Спасибо, не стоило. К сожалению, тогда мне не хватило воли поинтересоваться и расспросить его подробнее, ибо в дверях столовой меня уже поджидали учителя, и я медленно пережёвывал пищу, оттягивая начало урока.

Продав «Авельц Корп.», отец создал траст и периодически входил как частный инвестор в крупные проекты. Времени хватало: за моё воспитание он взялся как за свой последний крупный проект. Дрессировал, изматывал лекциями, учил принимать решения и готовил к выходу на биржу – поступлению в Аббертон.

Место мне забронировали чуть ли не с рождения. Как скоро начнётся обучение, отец уведомлял меня ежегодно, словно отсчитывая время до конца света.

Я совершенно не представлял, как буду учиться там, совсем один, в какой-то далёкой Англии, окружённый другими детьми; с другой стороны, я понимал, что Аббертон – единственная возможность скрыться от отцовского всевидящего ока.

– Что ты сделал не так? – задавал он вопрос, когда я неправильно произносил титул нашего гостя, когда забывал про данное обещание, врал, бросал салфетку на пол или предпочитал игру учебнику. – В чём твоя ошибка?

И до тех пор, пока я не отвечу – обстоятельно и подробно, – мне не уйти. Не ретироваться в комнату, нет времени на раздумья – стой навтытяжку прямо перед ним, нависающим над тобой, и молись, чтобы губы не задрожали.

– Что это такое? Что? это? такое? – голос ожесточается, но превращается не в ор, а скорее в брезгливое шипение. – Что это? Ты мой сын или чей? Приёмный? Мои гены и гены моей жены не были бракованными, разве нет? – обращается он к горничной, и та покорно кивает, не имея выбора и желания воевать за справедливость. – Закончил? Теперь скажи, что ты сделал не так. В чём твоя ошибка? В чём?..

Когда отец решил, что я должен сосредоточиться на поступлении, он продал моего любимого коня, чёрного араба Париса, невысокого и спокойного, с лебединой шеей. Отец

не стал лгать, что Парис уже старый или больной – он был мой ровесник, а арабские лошади живут долго. Но мне не сказали, когда за Парисом приехали: у меня был урок французского, и он таким образом «утвердил приоритеты».

Я пошёл в конюшню и застал только запах моего любимца. Я не успел с ним попрощаться и в знак протеста решил не приходиться на ужин и не разговаривать с отцом. Конечно, за мной пришли, и меня привели, и отец отчитал меня, но я молчал, и отец спрашивал своё любимое «что это такое?», а я молчал и заплакал от злости. Отец ударил меня по щеке, и я ответил: «Простите, мистер Авельц».

Позже ночью мне приснилось, что покупатель завёл Париса в бурную горную реку и утопил. Не знаю, что с ним случилось на самом деле.

Однако домашним тираном я бы отца не назвал – когда он срывался на меня в присутствии друзей или прислуги, поднимал на меня руку, заставлял глотать слёзы и рыдать по ночам, он хотел добра. Он так хотел вырастить из меня «совершенного ребёнка», так хотел вылепить из меня свою улучшенную копию.

Сейчас я понимаю: отец ошибался почти во всём. Его проповеди зависели от настроения, его этика и философия менялись ежегодно, если не ежемесячно. Но давление, якобы дисциплинирующее, помогло отрастить толстую кожу, которая позже очень пригодилась в Аббертоне.

Там, в Академии, где нас учили мыслить самостоятельно

и смотреть на мир шире, я возненавидел его. Не за унылые пытки, которые он мне устраивал, – в сравнении с истязаниями в Аббертоне это были детские забавы. Я возненавидел его за то, что моё детство могло быть безоблачным и счастливым, как у многих моих однокурсников, а вместо этого стало чередой гладиаторских сражений.

Это всё правда, но правда и то, что именно годы, проведённые с отцом, научили меня притворству; они научили меня ценить свободу и привили иммунитет к боли и одиночеству. Если бы не отец, не уверен, что выдержал бы девять лет в Академии. Более того, я понимаю, почему моё обучение в Аббертоне было для него так важно: у самого отца в моём возрасте не было и малейшего шанса туда попасть.

– Ты не глупый, – «поддерживал» он меня в тяжёлые минуты, – но вот что насчёт воли? Есть ли у тебя воля? Окончишь Академию? Посмотрим!

Жаль, до своего триумфа – моего выпуска – он не дожил ровно месяц. В гробу он выглядел столь же грозным. Высокий, с очень длинными руками и ногами, высоким лбом и худым телом, мёртвый саблезубый тигр.

Когда он неожиданно умер, мой главный враг, с которым я намеревался разругаться сразу после выпуска, мой тиран и угнетатель, казавшийся бессмертным, как Солнце, я не плакал. Я даже слегка обрадовался, когда узнал, что помутнения старческого сознания перестанут мне докучать, а необъятные ресурсы семьи теперь в моём распоряжении. Напослед-

док, правда, отец мне подсобил: треть состояния он внезапно пожертвовал «Церкви восьмого дня», какой-то эсхатологической секте, о которой я раньше и не слышал. Она на эти деньги попыталась устроить в Бразилии госпереворот, но это случится позже.

Всё остальное отошло мне. И ещё я узнал, что на окончание Аббертона он планировал приехать сам и сделать мне подарок: золотой перстень с печаткой, большой буквой «А». Я ношу этот перстень до сих пор, хотя надеваю теперь не на безымянный палец, а на мизинец.

Я смотрю на эту букву «А» и думаю: специально ли ты выгравировал лишь «А», решил не добавлять треугольник «L», для которого как раз есть свободное место?.. Не изменил ли ты заказ в последнюю секунду, чтобы напомнить, на кого я должен равняться?..

Поглядывая на перстень, покручивая его в минуты напряжения и раздумий, словно призывая его дух на помощь, я вспоминаю о нём, о мистере Ноэле Авельце-старшем, слышу стук копыт, крики чаек и шум волн, и его гены просыпаются во мне.

3. Аббертон

Политическая академия Аббертона при Правительстве Евросоюза и ныне считается самым элитарным и закрытым учебным учреждением планеты. Её основали семьдесят лет назад, ещё на заре Организации, когда мир вдруг оглянулся на себя и понял, что пора выбирать: либо саморазрушение и похороны в ядерном пепле, либо надо что-то менять.

Новой эпохе понадобятся новые политики – не ослеплённые шорами «национальных интересов», высокообразованные и разбирающиеся в науке космополиты, способные работать не на «свою страну», а на общее благо.

Отдаю дань уважения основателям Академии – они, старые дипломаты и пожилые вояки, поняли в кои-то веки, что их время подходит к концу. У них, всю жизнь защищавших нерушимость границ и суверенитетов, просто не хватало силы духа, знаний и интеллекта, чтобы понять, как можно образумить, образовать и изменить разобщённое, противоречивое и влюблённое в свои предрассудки человечество. Привести его в мир без войн, государств и насилия, в справедливый единый мир, где международная политика исчезнет и уступит место всеобщим законам и глобальному парламенту, а армия превратится в полицию. Люди больше не будут тратить время на распри друг с другом, а займутся наукой и творчеством. И полетят ракеты к далёким звёздам, и Марс

превратится в цветущий сад, а Галактика – в обретённый Эдем.

Те ветхозаветные политиканы едва ли могли вообразить такое. Но они сделали первые шаги: заложили фундамент Организации, создали Евросоюз, Азиатский союз, Лигу Южной Америки и ещё – Политическую академию Аббертона. Там они собирались растить новую элиту, чтобы она возглавила человечество и провела его сквозь смуты и тревоги в обещанный золотой век.

Ничего из этого, естественно, не вышло. Остались лишь слова «Et unum sint» («Да будут все едино») на железных старинных воротах, торжественные речи преподавателей и выпускников, полные пафоса книги и фильмы об Академии.

Однако, хоть стать кузней «новых людей» Аббертону не удалось, выдающихся людей Академия исторгала из своего чрева исправно. Её выпускники действительно составили некую политическую, культурную и бизнес-элику Земли. Пусть они и не справились с изначальной мессианской задачей – возможно, проблема была не в Академии, а в задаче?

Обучение здесь стоит целое состояние, а чтобы получить грант или стипендию, вы должны быть гостем из будущего, пришельцем или искусственным интеллектном. Из всех, с кем я общался в Академии, я знал только двух, кто учился не на деньги родителей, – и поверьте, это были не люди. Я бы заподозрил в них савантов, вот только саванты обычно талантливы в чём-то одном, у них проблемы с социализацией и то-

му подобное. Наши же гении-самородки были идеальны во всём.

Поступить в Аббертон самостоятельно – раз и навсегда устроить свою жизнь. На окончивших Академию дикий спрос: их мечтают заполучить все компании и все государства мира; стоит ли уточнять, что за стипендиатов борьба идёт в разы жёстче?

Нас, только вышедших из учебных стен желторотых птенцов двадцати с лишним лет, сразу угодивших на верх в банке с пауками, куда прочие карабкаются десятилетиями, – разумеется, нас ненавидят. Нам завидуют, нас презирают и оскорбляют, от нас ждут наших неминуемых провалов, ждут, когда мы сломаемся и сдадимся (понимаете, почему именно меня послали в Шанхай?). В нас видят неопытных, зазнавшихся, возомнивших о себе детей из слишком богатых семей.

Только вот незадача – мы почему-то не ломаемся и не проигрываем.

Обучение в Аббертоне, вопреки сплетням болтунов, представляет собой вовсе не томные прогулки вдоль аллей и почтительные беседы с наставниками в духе перипатетиков. В этом заблуждении мы и сами виноваты: выпускники Академии любят вспоминать о ней, произносить трогательные речи и «вдохновлять» новые поколения. Я и сам грешен: ходил на торжественные вечера, жал руку канцлеру, смеялся с педагогами.

Даже в тесном кругу выпускников (а это особое общество, и я не раз видел, как прежде незнакомые люди роняли в разговоре название городка к югу от Колчестера и между ними возникала настоящая магия), за разговорами о прошлом меня не покидает впечатление, что все мы притворяемся. Вспоминаем Академию пусть с ругательствами, но и с признательностью, с горькой ностальгией, с какой-то неизбывной грустью.

Боюсь, и мой рассказ может стать сентиментальным: всё же речь о подростковых годах, когда мы впервые завели настоящих друзей и впервые влюбились; и я прошу меня за это простить. Но, по крайней мере, я отдаю себе отчёт: ни одно доброе слово выпускника не имеет ни малейшего отношения к тому, что в реальности происходило (и происходит до сих пор) в Академии.

Вы, должно быть, слышали новомодные разговоры об образовании? Что дети лучше воспринимают информацию в процессе игры? Что объём человеческой памяти ограничен и даже интересные вещи имеют обыкновение забываться? Что интеллектуальный труд изнурительнее, чем труд физический? Что полноценный и регулярный отдых для обучения не менее важен, чем усердие и концентрация? Что учиться лучше в благожелательной атмосфере, учителя должны улыбаться, дружить с учениками и не давить на неокрепшую психику грузом заданий? А ещё вы, наверное, считаете, что не все одинаково способны? Кто-то быстрее разбирается в

математике, кому-то проще даётся стихосложение, а кто-то предрасположен к абстрактному мышлению и легко визуализирует модель атома и взаимодействие химических элементов. Наверняка вы знаете, что есть старательные зубрилы, а есть лентяи, которые всё схватывают на лету. У кого-то дислексия, у другого аналитическое мышление, у третьего хорошая наследственность. У каждого есть особый талант, его надо только обнаружить и развить, но любой ученик имеет «потолок». Или вы начитались Монтессори и верите в естественное развитие, подготовленную среду и творческое вовлечение?

Забудьте. Педагогов Аббертона о прогрессе гуманизма уведомить забыли.

Они не знали, что у человека вообще есть лимиты. Академия не считала, что у вас есть право быть неспособным. Вы должны были знать всё, от начала и до конца, помнить каждый термин, каждое слово в прочитанных книгах, сформулировать собственную точку зрения и отстаивать её до конца, а в итоге, после недельных дебатов и тысяч написанных слов, сдать и признать её неверной.

В Академии учились девять лет: обычно поступали после средней школы в четырнадцать – пятнадцать лет и выпускались в двадцать три – двадцать четыре.

Нас учили всему. Географии – политической, экономической, физической и исторической; антропологии, общей истории, древней истории, теории и методологии исторической

науки и науки вообще; современной истории, политической науке, политической теории, междисциплинарной политологии; исламской и христианской теологии (вероисповедание значения не имело), классической филологии, безусловно, латыни и греческому, мировой, древней и современной литературе, как минимум двум языкам на выбор (по-французски я говорю свободно, а вот русский, увы, подзабыл); клинической психиатрии, наркологии и медицинской этике; философии и истории философии; математике и математическому моделированию, теории игр, классической логике; эволюционной биологии и социобиологии, генетике, нейроанатомии, астрофизике и теоретической физике; экономической теории, экономическому, общему и международному праву, психологии бизнеса и прикладным основам управления и администрирования. На (обязательном) спецкурсе «публичное выступление» преподавали ведение дебатов, язык тела и актёрское мастерство: системы Станиславского и Михаила Чехова, биомеханику. Некоторой разгрузкой служили занятия по физической подготовке: карате, бокс, фехтование и стрельба.

И, кажется, я забыл свой любимый предмет! «Общее искусствоведение». Ренуар и Лучо Фонтана, Заха Хадид и Дали, византийская мозаика и Антониони, Паваротти и Марина Абрамович, венский акционизм и Мейерхольд, «Комеди Франсез» и Филип Гласс. Перед вами ставили две картины и спрашивали, где шедевр, а где фикция.

Думаете, вопрос вкуса, личного восприятия и контекста? Красота в глазах смотрящего? Нет. Здесь всегда был правильный ответ, А или Б, картина слева или картина справа. И если накануне вам не шепнули старшекурсники, если вы не озаботились разведкой и не имели понятия, как отличить квадраты Малевича от компьютерной имитации, вам оставалось только закрыть глаза и угадать.

Пяти-шести лет обычно хватает. Долгий утомительный устный и письменный анализ, обсуждения с наставниками и однокурсниками, сотни часов отсмотренного визуала и курсы по истории искусства – и вы, к собственному удивлению, действительно начинаете разбираться. И вдруг – без подготовки и шпионажа, впервые видя два абстрактных рисунка, – вы отличаете Поллока от безымянного ИИ.

Не потому что вы прониклись. Потому что другого выхода нет. «Не могу», «не хочу», «не понимаю», «заболел», «устал», «забыл», «не знал» – забудьте. Да, были срывы, были антидепрессанты и снотворное, были попытки суицида и набеги испуганных и разгневанных родителей. Но Академия предупреждала: за невысокими стенами близ городка Аббертона, меж зелёных полей и дубовых аллей, где старинные корпуса библиотеки стоят бок о бок с современными корпусами и вертолётной площадкой, теряют силу слёзы, физическое истощение и деньги семьи. С медленным издевательским скрипом ворот прежняя жизнь заканчивалась; впереди ждали девять кругов ада.

Академия не признавала посредственностей. Её не устраивали ученики со средними способностями. Ей нужны были гении, необычные и уникальные дети и подростки, и если вы таким не являлись, это была ваша проблема.

Никаких учебников. Фильмы, романы, научные статьи или трактат «О вращении небесных сфер» – всё, что обсуждалось на уроках, мы должны были изучать в «свободное время»; то же самое «свободное время» отводилось на физические тренировки и домашние задания. Текст за текстом, эссе за эссе, исследование за исследованием, речь за речью, анализ поэмы за анализом картины, аудит банка за рефератом по сильному взаимодействию.

Понятно, почему я взял «свободное время» в кавычки? Будем справедливы: нам оставляли два часа днём на обед и короткий отдых, а после восьми вечера мы могли заниматься хоть всю ночь вплоть до заветных десяти утра.

Предполагалось, что мы будем спать с одиннадцати или двенадцати до восьми – вполне достаточно, чтобы выспаться и с утра проверить и поправить написанное накануне. Но на практике не получалось. Мы ничего не успевали. Библиотека закрывалась в одиннадцать, и мы продолжали заниматься у себя в комнатах, смотрели усталыми глазами в мониторы ночи напролёт.

Мы жили в больших комнатах по двое или трое. Мы все ничего не успевали и потому проводили ночи за выполнением заданий, размышлениями и мозговыми штурмами.

Те ночи – единственное, по чему я скучаю. Мы спали не больше трёх-четырёх часов в сутки, отсыпались по выходным и доводили себя до изнеможения в будни; но эти страшные ночи, проведённые бок о бок, сплачивали нас и дарили иррациональную уверенность.

Да, я ничего не успел, и я на грани нервного срыва, и до рассвета всего час, и поспать сегодня не выйдет точно, и меня вполне могут отчислить (к моей тайной радости и вящему горю отца), но рядом друзья, и у них тоже завал, и все мы бодримся, перешучиваемся, обсуждаем девчонок и параллельно выстукиваем на ноутбуках какие-то умопомрачительные тексты.

Недалёкие люди полагают, что гении скрывают свои идеи, опасаясь конкурентов. Настоящие гении, окружавшие меня в Аббертоне, гордились именно тем, что их генератор идей никогда не выходит из строя. Только этим мы спасались: ловили это электричество из воздуха, тянули друг из друга.

Чувство локтя, знание, что ты не один и окружён равными, – вместе с естественной завистью, желанием выделиться и быть лучшим, но лучшим не в рейтинге (хотя и там тоже), а по совету, который ты можешь дать другу. Главный урок мы преподавали себе сами, создавая общее пространство свободного обмена идей. Бесценный опыт.

Выдерживали не все. Некоторые были недостаточно умны, другие – очень способные – не могли войти в ритм и, погрузившись с головой в учёбу, перегорали. Для меня от-

душиной стали друзья: мы могли отложить занятия и, постоянно поглядывая на часы, пойти погулять по парку или съездить в город, вместе посмотреть фильм к занятию. Многие не решались отдыхать. Боялись не успеть, не сдать работу вовремя, и в результате растрачивали все силы, и не показывали прогресса.

Прогресс! Самое страшное слово. Каждый должен показывать прогресс. Вы можете писать тексты лучше Тома Вулфа, произносить речи не хуже Линкольна, знать физику как Ричард Фейнман, а по теории эволюции прочесть лекцию Гексли, – но всё это не стоит и цента, если вы не продвигаетесь вперёд.

«Нет прогресса» – самая пугающая пометка из тех, что учитель мог написать на вашей работе. «Нет прогресса» или «несамостоятельность суждений» – куда страшнее низкой оценки или требований переделать.

– Нет прогресса, – произносимое с задумчивой улыбкой, – самостоятельность суждений...

Мы слышали эти слова в кошмарных снах.

Возвращаясь с каникул, мы с содроганием ждали нового семестра. За первый год отчислили процентов тридцать учеников, и из года в год количество предметов увеличивалось и требования ужесточались. Не просто тяжёлый, но изнурительный, выматывающий процесс, сплошная мясорубка, сквозь которую нужно было проползти.

Только к шестому или седьмому году становилось легче.

Мы выросли: нагрузки не уменьшались, но в отношении учителей появлялось всё больше уважения и интереса. Они сами начинали черпать у нас энергию, вдохновение и идеи.

Отчисление не означало конец света: отучившегося хотя бы пять лет в нашей Академии с удовольствием забирали любой университет мира. Но окончить именно Аббертон стало вопросом принципа. Некоторые стремились обеспечить себе интересную карьеру, другие не хотели подвести родителей, а третьи – из упрямства.

Я особо упрям не был и не могу сказать, что в последние годы так уж сильно боялся разочаровать Авельца-старшего. Он, конечно, подготовил меня к Академии: мне, заранее научившемуся хитрить, было проще. Но Аббертон никогда не был моим выбором. И даже обманывая окружающих, успешно маскируя недостатки своих текстов, спать я всё равно не успевал – в отличие от одного моего сокурсника, соседа по комнате, который ежедневно засыпал в два.

Это был один из тех двоих, чьё обучение Академия оплачивала сама. Энсон Роберт Карт. До сих пор не понимаю, как ему это удавалось. Я видел трудолюбивых, я видел самоуверенных, я видел гениальных и исключительных. Но часовые стрелки для всех бежали одинаково – для всех, кроме него.

Не иначе как он повелевал временем. Всегда жизнерадостный, подтянутый, бодрый. Уже тогда мы понимали – его судьба, если только её не прервёт нелепый случай, будет стремительной и яркой.

Энсон был лучшим. Это не преувеличение, не выражение моей симпатии или восхищения; так сказал Господь на седьмой день, отдохнув: «Вчера я создал людей, а сегодня, на свежую голову, создам-ка Энсона Карта». Карт всегда был лучше всех, первый во всём. Донжуан, джентльмен, франт, денди, атлет, поэт, голубоглазый гетеросексуальный белокурый ариец с фотографической памятью.

Когда он всё успевал, я не знаю, но ему не требовалась подготовка: он читал речи с белого листа и потом стойко слушал укоры учителей, смягчённые, правда, тем, что его импровизации были лучше, чем трижды переписанные и четырежды подготовленные выступления других. С «прогрессом» проблем у него не было: на предпоследнем курсе главный редактор «Юнайтед таймс», читавший у нас лекцию, лично позвал его вести еженедельную колонку. Что касается «самостоятельности», то на сто советов, данных другим, Энсон просил два себе: как правило, один исходил от вашего покорного слуги.

Хотя он был солнцем, согревавшим и одновременно затмевавшим нас, и бросить ему вызов (на уроке или в компании) считалось высшим проявлением доблести, он не зазнавался. Удивительно, но он никогда ни с кем не разговаривал свысока. Мне это настолько же непонятно, сколь возмутительно. Единственный, кто имел право смотреть на меня сверху вниз, этим правом так и не воспользовался.

Я добился его дружбы с трудом, и она стала главной при-

чиной не возненавидеть Аббертон.

Утомительная гонка, тысячи ненужных предметов, бесконечные дискуссии и тексты, работа с утра и до следующего утра – всё это закаляет и развивает, но, с моей точки зрения, эффективность подобного обучения ничтожна. Оно помогает скорее слететь с катушек, нежели превратиться в сверхчеловека. Единственная функция, в исполнении которой Аббертон преуспел, – это отбор. Искусственный отбор самых упрямых и стойких, самых амбициозных.

Год за годом, с первого курса и до последнего, Академия проводила отбор. И в конце мы оказались вместе: необычные студенты, подвергшиеся нечеловеческой нагрузке, мы перенимали сильные стороны друг друга и прикрывали слабые.

Не думаю, что таков был оригинальный замысел. Не думаю, что наставники это понимали.

Но это работало.

Я попал в Аббертон запуганным и меланхоличным подростком. Первые три года у меня не было друзей. Первые четыре года я регулярно видел две страшные пометки на своих текстах.

Всё изменилось, когда я однажды разговорился с Энсоном, когда случайно провёл полтора часа в кабинете наставника наедине с Корнелией, дочерью друзей отца, – она училась на два курса старше. Когда разыграть отрывок из пьесы «Троянской войны не будет» меня поставили вместе с лучшей лицедейкой курса – светловолосой и очень талантливой

Моллиандой Бо.

И только тогда, постепенно став частью этого нового общества, восторгаясь тем, насколько интересными могут оказаться люди, если общаться с ними, как увлекательно с ними спорить или просто дурачиться, – только тогда я полюбил Аббертон. Только тогда я научился принимать Академию, лишь потому, что она познакомила меня с ними.

Если вас интересует вопрос любви – милых школьных романов, – то я не буду хвастаться, как начал бы Энсон. Романы начались не сразу – сперва на них не хватало времени. Только когда нам исполнилось по шестнадцать-семнадцать, разгорелись настоящие страсти.

На это время пришёлся пик отчислений, депрессий из-за учёбы и на почве неразделённых чувств, попыток травли (жёстко и естественно пресекаемой), скандалов с пронесёнными наркотиками и пойманными «наедине» студентами.

За секс в стенах Академии отчисляли сразу. Никого, кроме меня, это не останавливало. стыдно признаваться, но я, наверное, был единственным, кто не пробовал заняться сексом в учебных аудиториях, или в женском корпусе, или приведя девушку в наши комнаты. Особо бесстрашные старшекурсники уже на пороге выпуска экспериментировали ночью в парке.

Для осторожных же тихонь вроде меня существовал сам прекрасный город Аббертон – с тремя дешёвыми гостиницами и четырьмя квартирами в аренду. Если пара жила не в

Академии, а снимала комнату в городе, то подняться утром нужно на десять минут раньше, но проблема, считай, решена.

По числу романов Энсон лидировал – когда с учёбой справляешься быстро, образуется излишек свободного времени. В отличие от него, я влюблялся в Академии лишь трижды: во-первых, мне нравилась Корнелия, но она предложила остаться друзьями; во-вторых, была девочка на курс младше, которую до меня бросил Энсон (чем и была знаменита); в-третьих, та самая Моллианда Бо.

Ближе к выпускному мы стали задумываться о будущем. К чести выпускников, отношения продолжать никто не решил. Энсон проделал нечто подобное в шутку – сделал предложение нашей общей подруге, прекрасной брюнетке Евангелине Карр.

Она отказала, но в ответ предложила незабываемое, верю, прощание в четырёхзвёздочном мини-отеле «Блэк Бонд Холл».

В ту ночь шёл дождь. Наш третий сосед дописывал диссертацию в Берлине, и я остался в комнате один. У меня умер отец, и мне следовало немедленно всё бросить и лететь в Париж, где пару часов назад в больнице оборвалась его жизнь; но все мои мысли (что взять с молодых?) были прикованы к великолепной Моллианде Бо.

У Энсона была Евангелина, у меня – Моллианда. Он шутил, что мы с ним эстеты. Слышать такое от самого Энсона

Карта, первого ловеласа Академии, было приятно, не скрою.

4. Специализация – для насекомых

После Аббертона даже война в Южной Африке казалась увлекательным приключением. Восстановить экономику Аргентины, сместить правительство в Австралии, выиграть выборы в Марокко, развязать войну или войну предотвратить – адекватные, выполнимые задачи.

Чтобы решить, кто разожжёт мировой пожар, а кто его потушит, Господь Всемогущий в лице канцлера и совета Академии учредил «общепрофильное собеседование».

За этим скучным названием скрывалось важнейшее событие нашей жизни. На выпускников Аббертона высокий спрос: каждый на выходе имеет ряд привлекательных предложений о трудоустройстве, и какое принять – его личное дело. Но выпускники Аббертона, честолюбивые и самовлюблённые, гонятся не за деньгами, а за влиянием, престижем или по-настоящему интересной работой.

Некоторые слушались родителей. Другие возвращались в семейный бизнес. Остальные, и таких было большинство, выбирали сами – и здесь важно не ошибиться, чтобы потом не обнаружить себя гниющим от скуки где-нибудь в Центральной Азии.

Обсуждая между собой будущее, мы подчёркивали, что после Академии уже никому и никогда не позволим нам указывать – ни родителям, ни наставникам, ни политикам. Это

мы, гениальные выпускники Академии, сформируем касту тех, кто будет указывать остальным.

Общепрофильное собеседование проводилось как для нас, так и для потенциальных работодателей. Оно длилось несколько дней подряд: каждый выпускник входил в аудиторию и беседовал с комиссией. Беседу вели сам канцлер Аббертона, куратор курса, персональный наставник – и, что гораздо важнее, прибывшие со всего мира охотники за юными талантами, представители корпораций и правительств, чиновники и миллиардеры, инвестбанкиры и военные.

У «охотников» были наши резюме, они получали рекомендации и характеристики от педагогов, и некоторые заранее назначали встречу со студентом, их заинтересовавшим. Но разговаривали мы на равных. Комиссия, убеждённая, что знает нас лучше нас самих, пыталась помочь советом – и иногда у них получалось.

Корнелия Францен, например, собиралась продолжить политическую династию матери: в их роду два премьер-министра Дании и несчётное количество министров по всей Скандинавии, а уж не быть депутатом фолькетинга считалось неприличным и в семействе отца, возглавлявшего крупнейшую морскую транспортную компанию Балтики.

Но, посоветовавшись с наставником, Корнелия внезапно отправилась в Америку и нашла себя в роли финансового консультанта ЦРУ (чем сослужила мне хорошую службу в дальнейшем).

А вот Ева Карр, любовница Энсона, с самого начала тяготела к термоядерной энергетике и отправилась помощницей вице-президента «Сан Энерджи» в Южный Китай, место во всех смыслах, кроме расщепления атома, малоприятное.

Я же грезил мегаполисами.

С самого детства меня увлекал мир беспокойных больших городов, растущих агломераций, переплавляющих миллионы людей разных наций и культур. Потрясающее богатство, бурлящие потоки денег, показная роскошь – а по соседству трущобы, нищета, преступность и загрязнение. Небоскрёбы с микроклиматом – и типовые лачуги без водоснабжения. Институты, запускающие спутники на орбиту, – и подполья неонацистов.

Контрасты притягивали. Мне не терпелось отправиться туда, в это сжатое, но точное самовоспроизведение Земли в миниатюре, где учёные изобретают бессмертие, а неподалёку люди умирают от голода.

На каникулах я летал в Токио, в Москву и в Нью-Йорк. Я с интересом изучал их жизнь, и мегаполисы не обманули моих детских ожиданий. Но как истинный наследник Бронислава Малиновского я знал: нельзя понять жизнь племени, пока не отрешись от своего мира и не погрузишься в туземный мир.

Я собирался найти работу в Токио, Москве, Нью-Йорке, Шанхае или Гонконге. Париж и Лондон меня не устраивали: слишком старинные и слишком понятные.

Я отправил запросы, воспользовавшись в том числе и отцовскими связями, и отовсюду получил положительные ответы.

Токио и Москва хотели видеть меня в городском руководстве; Нью-Йорк предлагал заняться проблемами безопасности и курировать пилотные проекты частных полицейских организаций; но самое заманчивое предложение поступило из Шанхая.

Город-государство тратил огромные деньги, пытаясь вытащить пригороды из бедности. Потоки беженцев из центральных районов Китая, отравленных после техногенной катастрофы, стекались на побережье, экономика находилась на грани коллапса, и город учредил несколько холдингов для аккумуляции длинных денег на социальные проекты. В надежде, что со мной придут деньги из Европы, мне предложили должность в руководстве одного из таких холдингов.

Очень высокая позиция для начала. Я немедленно принялся листать англо-китайский разговорник и учить карту Шанхая.

Поразительно, как часто в моей биографии всплывает этот город. Я отвергаю мистику и судьбу, молюсь лишь одной богине – Удаче, но так странно, что именно Шанхай выпадал мне столько раз. Отправься я туда после выпуска из Аббертона – кто знает, на чьей стороне я бы оказался в конфликте Худзё и преподобного Джонса?.. Уверен в одном: я бы увидел катастрофу на горизонте, я бы не дал ей случиться и не

дал городу погибнуть.

С другой стороны, не могу гарантировать, что в таком случае катастрофа не случилась бы на другом конце Земли: тяжело жить на планете, где на двенадцать миллиардов жителей один-единственный Ленро Авельц.

Но в Шанхай я не поехал.

За три года до выпуска я пригласил Корнелию, Еву и Энсона к себе на Лазурный берег. Они неплохо поладили с отцом, если не считать небольшого спора за ужином: Энсон симпатизировал альтерглобалистам и критиковал концепцию общей партийной системы Евросоюза, в то время как отец защищал христианских демократов.

После ужина Корнелия и Ева отправились на верховую прогулку, а мы с Энсоном и бутылкой «Романе-Конти» лежали у бассейна и вяло обсуждали политику.

Рассуждая о том, какими средствами принуждения должна обладать Организация, мы вспомнили подписанный в 1928 году Парижский пакт. Госсекретарь США Фрэнк Келлог и министр иностранных дел Франции Аристид Бриан декларировали «отказ от войны как орудия национальной политики». К пакту примкнули почти все значимые страны той поры, включая Японию, Италию, Германию и Советский Союз. Насколько законопослушны они были – показало время. Пакт вспомнили на Нюрнбергском процессе, но потом снова забыли, запутавшись в нагромождениях международного права и замысловатом Уставе Организации.

Я утверждал, что Парижский пакт нужно возобновить, однозначно объявив «войну во имя национальных интересов» вне закона. Государства должны отказаться от собственных вооружённых сил и передать их под контроль Организации, которая будет выполнять функции всемирной полиции, станет метисом от брака «Левиафана» Гоббса с «Вечным миром» Канта. Чем скорее традиционный патриотизм признают человеконенавистническим, тем лучше.

Да, последнее прибежище негодя, – соглашался Энсон, – но посмотри вокруг. И Лига Наций, и старая ООН, и наша Организация – все обладали полномочиями. Вооружённые силы Северного альянса – войска США, Евросоюза и России, мощнейшая военная машина мира, – уже фактически выполняют те задачи, о которых говоришь ты. Что изменится?

Войны, раздирающие Южное полушарие, ведутся под прикрытием информационных бомб и пропаганды – скорее деньгами, чем живой силой. Любой диктатор всегда найдёт предлог.

Возникнет так называемая Армия Земли, объявят войну вне закона – ничего не изменится. Мы просто будем врать ещё бесстыднее – и вести не старые добрые «лобовые» войны, а новые, «гибридные», одновременно промывая мозги, поддерживая террористов и убивая людей не снарядами, а синтетическими вирусами. Речь не о национальных интересах, а о реальном капитале и ресурсах.

Меня возмутил его ответ. Я пытался его переспорить – безуспешно. Энсон отбивал мои атаки одну за другой. От злости я написал пространное сочинение о юридических обоснованиях всемирной монополии на насилие, к которой так стремилась Организация.

Искренности в тексте осталось мало: я не написал, что офицерские погоны следует прибивать гвоздями, а «отцов нации», трогательно пишущих письма родным и близким погибших солдат, следует вешать; что суверенитет – гнуснейшее из слов, придуманных человеком; и странно, если речь идёт об убийстве одного – это преступление, а убийство тысяч – «тяжёлый и трудный долг главнокомандующего».

Вероятно, именно по причине сдержанности текст высоко оценили, в моём досье отметили, что я интересуюсь международной безопасностью, и на моё собеседование прибыли господа из так называемой Специальной комиссии Организации по пределам применения силы.

Если вы оглянетесь, то поймёте, откуда вырос наш с Энсоном спор.

То было время смятений и новых надежд. Организация располагала лишь стерилизованным корпусом миротворцев и правом просить Совбез о международной коалиции; в крайнем случае Организация запрашивала Северный альянс о вмешательстве. Разговорами о том, чтобы создать Организации полноценный военный департамент, наполнились коридоры мегаломанской штаб-квартиры в Ньюарке.

Речь шла не о создании собственных вооружённых сил, но о передаче под контроль Организации всех арсеналов Северного альянса, включая ракетно-ядерный.

Мы наблюдали затаив дыхание. Беспрецедентный шаг: в одно мгновение Организация должна была превратиться из беспомощного арбитра в полноценное мировое правительство. Северный альянс и сам стремился всучить Организации свою армию: Организация хотела развязать себе руки в Южном полушарии, а страны Альянса – избавить бюджеты от растущих военных расходов.

Генсек Мирхофф уверял, что деньги в бюджете Организации есть (теперь понятно, насколько он лукавил). Для осуществления плавного перехода он создал специальную комиссию, куда меня и позвали работать.

Болтая у бассейна, мы с Картом могли наплевать на общественное мнение; избранные же политики сильно переживают о рейтингах и об имидже, который националисты и правые им тут же испортят. Консерваторы в Альянсе, военное лобби, легальные и теневые торговцы оружием, частные военные компании, боевые и штатские генералы, возрастные избиратели в ключевых для реформы России и США – все были против.

Комиссия собиралась перехватить рычаги управления у политического руководства Альянса и местных военных министерств. Но процесс нуждался во внятном обосновании и безупречном пиаре.

На собеседовании, разом перечеркнув мои мечты о мегаполисах, мне предложили войти в эту команду. На раздумья мне потребовалось три минуты.

Принять предложение значило отправиться в захудалый провинциальный Брюссель, но в перспективе – войти в истеблишмент Организации. Заложить камень в основание первой в истории справедливой армии, где солдаты будут воевать не за дурацкие фантомы *raison d'état*, а за свободу, разумный порядок и общую безопасность. Кто бы отказался от такого?

Если Армия Земли будет создана, то комиссию перенесут в Нью-Йорк и вырастят из неё военный департамент Организации. Одним словом «да» и парой лет мучений в бельгийской деревне я мог попасть в руководство не одного мегаполиса, а всех сразу – работа в обновлённой Организации означала управление миром.

Я согласился. Неделю спустя, отметив выпускной, похоронив отца и передав наследство в доверительное управление, станцевав с Моллиандой зажигательный танец и погостив три дня у родителей Корнелии в Копенгагене, я вылетел в Брюссель и заступил на службу человечеству.

И моя долгая вахта не окончилась до сих пор.

5. Война в Южной Африке

Три человека могли разобраться в причинах той войны, но один из них умер, второй сошёл с ума, а третий занял высокий пост и правды уже не расскажет. Я в их число никогда не входил: снобы из Сьянс По и Чатэм Хауса считают, что из деталей рождается знание. В Аббертоне мы говорили: «причины переоценивают».

Народы Южной Африки всегда бомбили друг друга, устраивали геноциды, перевороты, путчи, гражданские войны и мятежи с тех пор, как обрели независимость; более-менее спокойная ЮАР держалась дольше всех, но после Манделы и её настиг печальный фатум деградации.

Любимая наша Организация по обыкновению сидела нахохлившись на своём ньюаркском насесте и молча наблюдала, вмешиваясь лишь тогда, когда озверевшие боевики вдруг по ошибке вторгались на суверенные территории авторитетного транснационального бизнеса.

Всё изменилось, когда у них появилась бомба. После экологической катастрофы, опустошившей Центральный Китай и уничтожившей коммунистическую Китайскую Народную Республику, эвакуацией ядерного арсенала занялся не Северный альянс, как планировалось, а Организация. Предшественники Мирхоффа хотели заработать очки – и проиграли. Торговцы оружием слетелись как мухи на мёд – купить

обогащённый уран на чёрном рынке стало едва дороже трети.

Небольшой запас приобрели террористы из Конго, спонсируемые Замбией, Танзанией и Анголой, и террористы из Ботсваны, спонсируемые Конго. Первый взрыв оставил кратер в центре города-миллионника Лубумбаши. Второй прогремел на окраине Лусаки. Третий и четвёртый – на границе с Малави.

Организация запаниковала. Совбез проснулся и отправил в Замбию подразделения Северного альянса. Разведку дезинформировали, расследование саботировали, и военные действия унесли жизни четырёх тысяч солдат из России, Норвегии, Франции и Америки.

Тогда привлекли частные военные компании, но их огневой мощи не хватало: Северный альянс продолжал наносить удары с воздуха, но ясности, кто и с кем воюет, так и не появилось. Правительства ЮАР, Замбии и Зимбабве подавили восстания, остальные страны региона ввели военное положение и закрыли границы. Панафриканский конгресс призвал Организацию срочно отступить, чтобы «не усугублять гуманитарный кризис»: лучше измазаться глиной и есть соплеменников, чем снова пустить к себе белых людей, верно?..

Последнее, чем я хотел заниматься, – расхлёбывать эту кашу из спеси и варварства, сверху покрытую густым слоем профнепригодности и алчности сотрудников Организации и военных.

Но я прилетел в Брюссель. Мне выделили маленькую служебную квартиру на другом конце города, неделю не могли подобрать кабинет и совершенно не озаботились размещением моей охраны.

И вместо того чтобы заняться решением этих по-настоящему важных проблем, мой начальник, руководитель комиссии господин Керро Торре, вызвал меня и поручил заняться Африкой.

Вы, наверное, знаете Керро Торре как генерального секретаря Организации, у которого во время терактов в Париже погиб первый заместитель. Его имя может ассоциироваться у вас со свёртыванием космической программы и запретом на свободный доступ в Сеть. Если вы мудрее, то помните его как президента Лиги Южной Америки, отдавшего приказ потопить корабли с беженцами из Эквадора. А уж если вы любитель древностей, то да, Торре – один из непредумышленных убийц Шанхая, и об этом я ещё расскажу.

Но тогда его ещё не звали «монстром из Валенсии» и никто не смеялся над ним из-за скандала с виртуальными БД-СМ-рабынями. Тогда Торре ещё не облысел, носил усы и здоровенный «ролекс» на запястье, брезговал наркотиками и занимался спортом, но уже выкуривал по двадцать пять безникотиновых сигарет в день и матерился на подчинённых.

Его просторечный, якобы «близкий к народу» говор меня всегда раздражал. Он подцепил его на улицах Мадрида, где на заре карьеры агитировал за выход из Соглашения о Евро-

пейской безъядерной зоне. Вскоре он сменил свои взгляды, из евроскептика обернулся глобалистом и сделался послушным инструментом в руках своего патрона – генсека Мирхоффа.

Провались затея с Армией Земли, Мирхофф бы отдал Торре на растерзание. Но если у кого и был шанс воплотить голубую мечту Организации, то лишь у Торре, плюющего на принципы и готового лечь под любого захудалого президента в Генассамблее. Мирхофф не ошибся – Торре обладал чутьём, иначе не поручил бы невыполнимую задачу единственному в мире волшебнику, Ленро Авельцу.

В кабинете – угловой каморке, которую я делил со своим референтом и для которой мне пришлось купить шторы, чтобы закрыть стеклянную дверь без функции затемнения, – я разложил документы и отправился спасать Чёрный континент.

Керро Торре рассматривал военную кампанию как пробный камень: сумеет ли силы Альянса и ЧВК навести там порядок, мы бы представили это как настоящий триумф, победу сил объединённого человечества над всемирным террористическим злом. Свободные люди всей Земли вместе сражаются за свободу и права человека на другом конце света! Такая трактовка могла пробить щиты консерваторов.

Но потерпи Организация поражение... затягивание конфликта и превращение его в современный Вьетнам уже рождали новых пацифистов.

Бюрократическая неспособность наладить эффективное взаимодействие между военными могла обернуться крахом самой идеи Армии Земли. Если самая мощная армия в истории не может навести порядок в четырёх-пяти странах третьего мира, то как она собирается обеспечивать безопасность всего человечества? Правы националисты, нужны «суверенитет» и «границы», колючая проволока, выездные визы и берлинские стены!

Поражение в Африке нанесло бы удар по сути Организации, провозгласившей своей окончательной целью единство Земли. Начался бы раскол, которого мы все так опасались: богатый Север, защищённый ракетным щитом, орбитальными станциями и спутниками, навсегда бы обогнал разорённый, раздираемый войнами и беспорядками, нищетой и изменением климата Юг.

Оглядываясь назад, я смеюсь над нашими страхами.

Мы предвидели будущее – и страдали, а нужно было радоваться. Мы почему-то решили, что река времени течёт в одном направлении и миражи нацизма, изоляции, мировых войн и средневекового упадка навсегда в прошлом. Народы Земли преподали нам урок разочарования. И война в Южной Африке, которую я тогда приостановил, стала лишь началом грядущих кровавых событий. Но значит ли это, что и пробовать не стоило?..

Сам я никогда не воевал. Я презираю оружие и последний раз стрелял из пистолета в Аббертоне. Танки и ракеты

внушают мне отвращение, а мысль о том, чтобы подчиняться какому-то идиоту из-за цвета его погон, кажется мне преступной.

Но если бы не я, вполне возможно, ваши дети, а то и вы сами отправились бы воевать в радиоактивные котлы Замбии и до сих пор оттуда возвращались бы даже не трупы, а только списки, списки и списки.

Первым делом я провёл войне ребрендинг.

Я придумал отказаться от трусливой вывески «операция по восстановлению мира» и назвать вещи своими именами – и если в вашем школьном учебнике параграф называется «война в Южной Африке», то спасибо мне.

Наша информационная политика не выдерживала критики: каждый аналитический центр или сетевой ресурс работали сами по себе.

Организация пыталась транслировать умолчание, но безрезультатно. Неудивительно, ведь ядерные грибы, заметные чуть ли не из Осло, заставляют тревожиться. Я настоял на смене паттерна: отныне нашей повесткой стала максимальная гласность о войне, разрушениях и потерях.

Люди должны знать – потому что знание рождает страх. Нет, не всё в порядке в этом мире, и война идёт не где-то в Африке, у далёких берегов, она идёт у порога вашего дома, и единственное, что стоит между кровожадным боевиком и вашими детьми, – солдат, воин с мандатом Организации и Армии Земли.

Я культивировал страх, чтобы вырастить надежду, – и мой план одобрили. С помощью Торре, знавшего тайный ход в резиденцию Мирхоффа, мне дали провести через Совбез и Генассамблею несколько деклараций. Смысла в них не было никакого, полная тревоги бессмыслица, но инфоповод получился, и общественное мнение снова озаботилось Южной Африкой и увязало войну с проблемой Армии Земли.

Оставалась сушая мелочь, маленькая незначительная подробность – войну выиграть.

Нет, у нас были варианты и на случай поражения, и на случай вывода войск, и на случай разгрома – при всех исходах я бы смог объяснить, почему действия армии следует считать успешными. Вину за поражение я планировал возложить как раз на отсутствие централизованного руководства и внятной правовой основы; но доверие – исчерпаемый ресурс.

Для реализации моих планов мне нужно было много, много доверия, величайшие его залежи, – и чтобы их обнаружить, мне нужна была война, выигранная на деле, а не в пресс-релизе.

Так что я презрел субординацию и вмешался в разборки командования.

И страшно за это поплатился.

Главными бедами наших сил в Южной Африке я считал раздробленность, недопонимание задач и нулевое взаимодействие с местными военными и ЧВК. Я сочинил доклад для Керро Торре, где написал, что требуется консолидиро-

вать политические позиции Альянса и Организации, создать единый войсковой штаб и встроить страны региона в вертикаль командования. С террористами, ведущими партизанскую войну, бороться можно столетиями – значит, нужно сменить приоритеты и сперва закрепить и защитить лояльные и дееспособные режимы региона.

Торре со всем согласился, внимательно меня выслушал и приказал вылетать в Кейптаун.

Такого предательства я от него не ожидал. Читать отчёты за чашкой кофе на Гран-плас, ругаться в коридорах Ньюарка, отдавать приказы из бездарного, но всё-таки чистого кабинета на набережной Сенны – это одно, но лететь в Африку самому?.. смотреть в глаза людям? вдыхать пепел разорённых городов, при виде воды хвататься за счётчик Гейгера?

Той ночью я всерьёз обдумывал увольнение.

Через два дня я приземлился на военной базе недалеко от Кейптауна. Шёл дождь, небо застилало мрачные тучи, много военных на улицах, боевая техника, беспорядки и выстрелы, которые ночью мешали спать. Фронта не было, война шла везде, ты нигде не был в безопасности. Мои полномочия так никто и не определил, военные не смогли оценить ценность моей персоны и выделили всего одного телохранителя, который к тому же плохо говорил по-английски.

Несколько недель я перемещался между военными базами в ЮАР и бился, как об стену, о мозги военных: они не хотели давать мне информацию, не рассказывали о ситуации,

отсылали к начальству или подчинённым, ни у кого не было на меня времени; и если так вели себя военные Альянса, то вы легко представите, какой приём я встретил у местных.

Торре из Брюсселя приказал мне провести переговоры с правительствами, ещё сохранившими остатки адекватности и влияния. Но до них нужно было добраться, а я не мог вылезти с территорий военных баз, потому что у меня не было транспорта, и я не мог отправиться ни на север, в самое пекло, ни на запад, ни на восток, где бои шли не с террористами, а с местными президентами.

Я умолял Брюссель хоть о каких-нибудь полномочиях, но Торре ссылался на занятость и всё обещал и обещал какую-то мифическую санкцию лично от генсека. Но пока санкции не было, меня никто не слушал, и я уже начинал думать, что это всё – одна большая ошибка и мне остаётся лишь подкупить ВВС и свалить на пляжи Мадагаскара. И вдруг удача мне улыбнулась.

Я как раз застрял в Претории, где частники из «Эрго» при поддержке авиации Альянса уже пятый раз пытались начать наступление. Повстанцы взяли в заложники дипломатов и требовали переговорщика, а я оказался единственным человеком из Организации в радиусе ста миль. Меня срочно притащили в оперативный штаб, и пришлось объяснять, что переговоры с террористами не являются моим профилем. В результате головорезы «Эрго» взяли здание штурмом и перестреляли пленных вместе с бандитами.

Полдня меня рвало и лихорадило, но мои страдания были вознаграждены: простимулировать «Эрго» прибыл начальник штаба Северного альянса. Я проник на переговоры, добрался до начштаба и перекинулся с ним парой слов.

У меня было минут пять, не больше, пока он шёл от здания штаба к своему броневнику.

Представьте себе: три утра, моросит противный тёплый дождь, в воздухе вонь и запах гари, на тёмном небе вспышки артиллерийских залпов, от которых уши заложены вторую неделю, – и я, зелёного цвета и шатаюсь, в бесформенном дождевике поверх помятого испачканного костюма, двадцатипятилетнее небритое ничтожество с одним жалким охранником. И он – боевой генерал, ветеран, высокий, седой и внушительный в камуфляжной форме, окружённый адъютантами.

Да будь я хоть трижды представителем Организации, будь я ртом и языком самого генсека – что я могу сказать ему? чем заинтересовать?

Я знаю, как победить? Я ваш единственный шанс выиграть? Дайте мне самолёт, охрану и ваши погоны? Детский сад. Керро Торре ясно указал мне ждать инструкций, а пока сидеть тихо и собирать информацию, но не пошёл бы он... Дрожать при каждом взрыве и ждать, когда меня возьмут в заложники и убьют, как тех дипломатов? Хотел бы Торре меня сохранить – не отправил бы в Африку.

Так что к чёрту Торре, к чёрту Мирхоффа и к чёрту ин-

струкции.

Я подошёл к начштаба и сказал:

– Генерал, меня прислал Керро Торре, он полный идиот, но мы с вами – единственные разумные люди здесь. Я считаю, командовать нашими силами должны вы, и я могу это устроить.

На словах про Керро Торре он остановился и посмотрел на меня. В его глазах мелькнула тень удивления, но когда я закончил, он не двинулся дальше. Он молчал, ожидая, что я скажу ещё.

Честно говоря, на его месте я бы себя послал к чёрту. Наверное, в этом наше с генералом Уинстоном Уэллсом главное различие. Его, пусть и на пару секунд, мог заинтересовать даже аферист.

Конечно, я не мог назначить его командующим, у меня не было никакой власти. Своими жалобами я раздражал господина Торре, который уже подумывал отозвать меня из Африки и перевести в канцелярию. С другой стороны, я вовсе не был уверен в Уэллсе: признаюсь, до нашей первой встречи я прочитал лишь краткую справку о нём и думал, что договориться с ним не выйдет.

Англо-израильский военный, он прошёл войны на Ближнем Востоке, в Южной Азии и в Африке; недавно перешёл в армию Северного альянса, где один из немногих в генералитете поддерживал создание Армии Земли. Собственно, это всё, что я о нём знал.

Ещё слышал, что у местных военных – и прямых подчинённых, и наёмников – он пользуется авторитетом. При этом в наземных операциях коэффициент эффективности у него был средний.

Я задал вопрос: отчего один из самых талантливых, как говорили, военачальников оказался посредственностью? И получил ответ: посмотри на процент потерь личного состава. Я посмотрел. Самый низкий в Южной Африке. Генерал Уэллс не спорил с приказами, которые считал бессмысленными, но и не добивался их исполнения любой ценой. Из-за этого молчаливого саботажа командующий переместил Уэллса в штаб – и тем самым поднял в иерархии фактически до своего заместителя.

Мне показалось, что заменить командующего – осторожного и политизированного человека – на боевого генерала, ценящего жизни людей, – первый шаг к победе.

Не ошибаюсь ли я на его счёт? Стоит ли работать в этом направлении?

До нашей встречи я не знал.

Но Уэллс остановился, выслушал меня, отложил вылет и вернулся со мной в штаб. В маленькой подвальной комнатке, где было очень жарко и через стену тарахтел и вонял дизельный генератор, мы проговорили полтора часа. Когда мы закончили, я имел в своём распоряжении небольшой самолёт, допуск высшей категории, адъютанта-советника в звании майора, трёх охранников и прямую линию связи со шта-

бом.

Следующим утром я вылетел в Луанду, через день посетил Виндхук, через два – Мапуту, а вечером третьего дня меня едва не сбили над осаждённым Хараре, где Уэллс из штаба войск Альянса руководил обороной.

С собой я привёз ушибленную спину и письменные соглашения Анголы, Мозамбика и Намибии на совместную военную операцию под руководством штаба Северного альянса. Это стоило мне десяти лет жизни, но я подписал эти соглашения у президентов вышеназванных стран – я их запугивал, я угрожал, я представлялся помощником Мирхоффа, но я это сделал.

Торре мне не поверил. Когда я заявил ему, что теперь необходимо заменить командующего операцией, он сказал: «Это невозможно». Более того, сказал я, нужно не просто заменить командующего силами Альянса – нам требуется единый командующий и единый штаб для всех: Альянса, местных и ЧВК. Торре объявил: «Ты головой ударился». Я ответил: «Лечу в Брюссель, готовьте встречу с генсеком».

Я покидал штаб Уэллса, пояснив, что никаких гарантий дать не могу. В залог я оставил подписанные президентами соглашения, но мы оба понимали, что этих президентов могут в любой момент сместить. Уэллс предупредил, что командующий осведомлён о нашей интриге и уже активизировал лобби в Нью-Йорке.

– Если меня тут случайно убьют, я подавлюсь зубочист-

кой или вроде того, – сказал он мне на прощание, – это ты виноват.

Я бы на его месте так не шутил. Ещё одно отличие.

За пятнадцать часов, пока я добирался из Хараре через Париж в Брюссель, Торре навёл справки и вдруг переосмыслил своё отношение к жизни.

Через неделю бортом Организации мы вылетели в Нью-Йорк, где нас ждал генсек Мирхофф. Я впервые встретился с ним лично: Торре взял меня с собой на полуночное совещание в резиденцию на Статен-Айленде. Невысокий, чуть полноватый, с непроницаемым лицом, с залысинами и в больших очках, генсек произвёл смешанное впечатление (почему он не сделал пересадку волос и коррекцию зрения? не хотел менять сложившийся годами имидж?).

Они с Торре сидели и общались, много курили, а я стоял в длинном ряду помощников-референтов и думал, насколько обманчива эта непринуждённость. И скупые шутки Мирхоффа, и поглядывания краем глаза – манера, которую Торре перенял у него.

– А это... – генсек указал на меня, – тот самый ваш героический сотрудник?

– Ленро Авельц, – представил меня Торре. – Вы его запомните.

– Не курите? – спросил Мирхофф. – Как там в Африке?

– Тяжело, господин генеральный секретарь, – сказал я, – весь в шрамах.

Торре усмехнулся в усы. Мирхофф тоже сдержанно улыбнулся.

Он уже провёл консультации с руководством Северного альянса – те не соглашались. Естественно, они протестовали, их возмутило моё самоуправство и кандидатура Уэллса. Но Мирхофф, только-только вознёсшийся в кресло генсека, бывалый товарищ Торре по митингам и забастовкам, старый шакал, – учуял кровь.

Он созвал Совет Безопасности и под камеры заявил, что войну мы проигрываем. Это была ложь. Никаких доказательств ухудшения – мы всё глубже и глубже загоняли террористов в подполье, просто слишком медленно. Но Мирхофф представил дело так, будто каждая минута промедления стоит жизни сотням солдат, а ещё – миллионы долларов, на которые предстоит Южную Африку восстанавливать. Ведь именно Организации, напомнил Мирхофф, придётся этим заниматься, так что «в наших интересах минимизировать ущерб» (любопытно, о какой минимизации он говорил после четырёх ядерных взрывов?).

Не знаю, что за тёмный обряд он сотворил, но Уэллса назначили главнокомандующим. Наблюдая за тем, как он приватизировал и воплотил мою идею, я выучил новый урок: как хорошо иметь в подчинённых Ленро Авельца!

Обратно в Брюссель мы с Торре летели триумфаторами. Уэллс уже планировал полномасштабное наступление и находился в ежедневном контакте с Ньюарком. Торре поче-

му-то решил, что я должен вернуться в ЮАР; я развеял его заблуждения и остался координировать работу над имиджем операции в Брюсселе.

Упреждая следующий вопрос: нет, я не знал, что Уэллс собирается ответить террористам их же методами. Я не был ни на одном совещании, посвящённом боевым действиям, мне хватало Сети и партий Старой Европы. Голосование по проекту резолюции об Армии Земли приближалось, и мы с Торре совершенствовались навыки компромиссного мышления, забыв обо всём остальном.

Я считал Уэллса профессионалом и полагал, что советы ему не нужны. Так и было. Он справился, и вполне неплохо, учитывая результат.

Да, при ковровых бомбардировках Чомы, Мазабуки, Габве и прочих городов с невнятными названиями, полных оружия и боеприпасов, погибали гражданские – и я этого не одобряю. Но они погибали и так – в карательных чистках так называемого нового правительства.

Да, Уэллс разрешал пытки, но их и так использовали – Уэллс просто не стал врать, как его предшественники, а открыл миру, как действительно ведутся современные войны. Обыватель ужаснулся – и в два раза быстрее признал, что только коллективная безопасность спасёт от повторения кошмара.

А что до биологического оружия, применённого в Ботсване, и эпидемии эболавируса EVZ-11, то следствие Орга-

низации установило: это была совместная акция Намибии и Анголы; исполнители, организаторы и синтезировавшие EVZ-11 учёные предстали перед судом. Уэллс ввёл карантин, чтобы его люди не пострадали. Я понимаю солдат, кто отказывался стрелять по несчастным, пытавшимся выбраться из оцепленных районов. Но если бы Уэллс этого не сделал, если бы эболавирус вырвался за пределы зоны отчуждения – вы представляете, какими были бы потери? Возможно, всю операцию пришлось бы свернуть. Это стало бы большей катастрофой для континента, чем гибель нескольких тысяч крестьян.

Не их вина, что родились в примитивном, окружённом великой красотой, но дремучем, полном ненависти мире; моя удача, что я не родился там. Наверное, их жизнь шла бы своим чередом и без политических прав и свобод; наверное, образование, кроме навыков ведения сельского хозяйства, было бы им обузой; их вполне устроило бы, приди к власти очередной диктатор или тиран, лишь бы был порядок, и им во все не было нужно, чтобы непонятные люди из далёких стран приходили и «освобождали» их.

Они бы поддержали любую партию, кто обещал бы стабильность и уверенность в завтрашнем дне; они пошли бы за фанатиком и завербовались бы в армию, уверенные, что в смертях их детей был смысл. Озлобленность и невежество политиков питает озлобленность и невежество избирателей. Вот поэтому я всегда был противником демократии, что, од-

нако, не делает меня другом диктаторов, параноиков и ма-
ньяков.

Свобода и интеллект обрекают на принятие тяжёлых ре-
шений. Порой они весят больше, чем жизни людей, иногда от
них зависят судьбы мира, и я не преувеличиваю. Вся болтов-
ня Толстого, Маркса и Ленина меня даже не забавляет: нет
никаких мифических «масс», есть личности, которые при-
нимают решения. И завтра какая-то из этих личностей бу-
дет решать, жить вам или умереть. Надеюсь, та личность, от
которой зависит ваша жизнь, будет достаточно моральна и
притом достаточно решительна и не погубит вас промедле-
нием.

Вы не поймёте ни Уэллса, ни Мирхоффа, ни меня, ни да-
же богомерзкого Торре, если сами никогда не принимали тя-
жёлых решений. Не верьте тем, кто скажет, что это просто.
За моими плечами горы человеческих тел, растерзанных за-
конов и поруганных святынь. Я знаю цену тяжёлым решени-
ям, а вы не судите и не судимы будете – это моя прерогати-
ва. Я понимаю, почему Уэллс действовал так; и я знал, что
если сейчас мы не принесём в этот бедный край свободу на
крыльях ракет, то наши враги принесут туда геноцид.

Решения Уэллса себя оправдали.

Через год Северный альянс завершил войну, и лет на пять
Южная Африка успокоилась, постепенно перейдя под кос-
венное управление Организации. Ей занимались мои колле-
ги, и я много слышал о продолжающихся терактах, путчах,

налётах на нефтяные вышки и так далее. Но разве это могло сравниться с полномасштабной войной?

Сейчас там снова разгораются конфликты: в долине реки Конго всё тянется гражданская война, в Кейптауне снова жгут белые кварталы, в Виндхуке опять танки на улицах. Я бы хотел окончить все войны навсегда, установить тысяче-летний мир – но я не бог, и люди, с которыми я делю планету, слишком ущербны, чтобы из моего начинания вышел толк.

А вот из выигранной нами войны толк вышел. Через полтора года Генеральная Ассамблея по представлению Совбеза приняла резолюцию об Армии Земли.

6. Армия Земли

Нет, я не собираюсь вас убеждать, что это было необходимо. Тем более я не буду оправдываться.

С возрастом я вообще перестал верить в безальтернативные решения. Если вы спросите, стала ли планета безопаснее после того, как Евросоюз, Россия, США, Япония, Корея, Австралия, Новая Зеландия и ЮАР отдали свои вооружённые силы в распоряжение Организации, вы не услышите уверенного «да» от меня.

Примкни к соглашению остатки Китайской Республики – города-государства побережья Шанхай и Гонконг, унаследовавшие ядерные арсеналы, – а ещё Индия, Пакистан, Аравийский альянс, Израиль и Южная Америка... да, мир бы изменился. Но они испугались. И вымучили обязательство сделать это в ближайшие пятьдесят лет. Их трудно упрекнуть: китайские равнины к западу от побережья и к северу от Мьянмы стали небезопасным местом, где на останках красного левиафана в облаках ядовитых отходов пытались взять реванш банды коммунистов-анархистов, а на Ближнем Востоке вело свой вечный джихад бронзовеющее Исламское Государство.

Организация давала гарантии защиты – но кто бы ей поверил? всю свою историю человечество только и делало, что обманывало и предавало, но разве Организацией руководи-

ли марсиане? «Отказники» поступали по-своему мудро: хотели посмотреть, как будет действовать Армия Земли. И та их не подвела.

Отправилась воевать в Исламское Государство, вернулась в Африку, разворошила гнёзда анархистов в Китае, а ещё оказалась столь эффективна в Шанхае, что теперь кое-кто зовёт её Welt-Wehrmacht.

Но тогда предвидеть это мог разве что Энсон Карт, сразу после войны в Африке опубликовавший знаменитое расследование наших «военных преступлений». «Вы убийцы: не навоевались?» – так называлась его статья, где он предрёк новые войны и новые катастрофы. «С победой демократии не победит свобода», – писал он с таким апломбом, что вывел меня из себя.

Я знал, что мы по-разному смотрим на мир, но впервые Энсон (а я считал его другом) не только выступал против, но фактически обвинял лично меня. Он провёл не пунктирную, а настоящую границу между нами: с траншеями, окопами и блиндажами. Сегодня я понимаю, что оттуда идёт отсчёт дней до его смерти; но тогда я просто взбесился и отмахнулся, потому что он молол языком, а я делал дело и менял мир.

В те месяцы Торре командировал меня в Нью-Йорк. Я жил на территории штаб-квартиры в Ньюарке, спал по три часа и каждый день оббегал Генассамблею, Совбез и приёмную генсека, согласовывал каждую запятую в резолюции и

добывал нам голоса.

Агитацию вели по всему миру, но главным полем боя оставался Ньюарк. К генсеку доступа у меня не было, но я наладил связь с парой его помощников в обход Торре и задышал свободнее. Главкомандующим Армией Земли планировали поставить Уэллса – и я был одним из немногих, кто из нашей комиссии сохранил с ним хорошие отношения.

Уэллс был ключевой фигурой. Без его авторитета в армейских кругах нам бы вряд ли удалось задавить лобби консерваторов и торговцев оружием. Он лично летал в Вашингтон, Сидней, Стамбул, Буэнос-Айрес, Мехико и Дели, где обхаживал старорежимных военных и лидеров бессмысленных стран, по недоразумению имевших голоса в ГА.

Их возражения как тогда, так и сейчас вызывают у меня рвотный рефлекс.

«Сосредоточить такую огневую мощь в руках нескольких людей, пусть и избранных, и одобренных, и назначенных, и подконтрольных, значит подвергнуть мир серьёзной опасности!» Едва ли эта опасность могла быть больше той, с которой мы жили целое столетие, пока оружие массового поражения находилось в руках психически нездоровых людей, причём не пары, а целой когорты задира с комплексом неполноценности.

«Займи кресло генсека человек дурных намерений, – апокалиптическим тоном вещали они, – он бы мог использовать Армию Земли в своих интересах!» Серьёзно? А раньше ар-

миями и государствами руководили сплошь святые, исключительно здравомыслящие гуманисты? Вы-то смеётесь, а я, выслушивая всё это, такой возможности был лишён.

В результате нам пришлось пойти на ряд компромиссов. Неожиданностью стало то, что генсек Мирхофф сдал Уэлса и назначил главнокомандующим Нишанта Редди, военного из Индии, предложенного Азиатским союзом. Мирхофф исходил из того, что главком должен быть функционером, а не самостоятельной фигурой.

Решение о применении Армии Земли генсек мог принять только с одобрения Совбеза, Наблюдательного совета, военного комитета ГА и двух заместителей.

Кроме того, и главнокомандующий, и офицеры, и рядовые получили беспрецедентное право игнорировать приказы, которые посчитают преступными: террор в отношении гражданских лиц, продовольственную блокаду, использование оружия массового поражения и тому подобное. Это было правильное решение, и хотя юристы сходили с ума, я считал этот принцип главным и лучшим своим достижением.

Без одной поправки, которую тихо приняли два месяца спустя, он бы мог спасти Шанхай.

Тогда я этого не понимал. Может, мне стоило не обижаться и взять в советники Энсона? Его принципиальность раздражала, но принципы – единственное, что одних чудовищ отличает от других, а беспринципным монстром я быть никогда не соглашался.

Мы выдумали так называемое «право окончательного решения». Генсек и главнокомандующий получили возможность издать приказ под особым грифом, который армия обязалась немедленно и без обсуждений выполнить. Прикажи они стереть с лица земли Нью-Йорк водородными бомбами – этому приказу пришлось бы подчиниться. Безумие, да?

Но генсек и главнокомандующий отчитываются перед Объединёнными Нациями, за малейшую провинность им грозит импичмент и суд, так чего опасаться? Наблюдательный совет успеет среагировать до того, как гипотетический «генсек судного дня» обречёт нас на смерть, – так рассуждал я и так думали остальные. Такого жёсткого контроля, таких ограничений не было ни у одного из лидеров ядерных держав прошлого, а они ведь постоянно ругались, то и дело ставили мир на грань массового истребления и ещё оправдывались «интересами государства», избегая всякой ответственности за свои кровавые игры.

Да, «окончательное решение» нас подвело, и, поверьте, я прекрасно это понимаю.

Если бы мы остановились, если бы я остановился и немного подумал, если бы мы вынесли «окончательное решение» на публичные дебаты... не уверен, что это всё изменило бы. Но шанс был – маленький, незначительный, но он был, и мы его упустили, и я каюсь перед вами.

Но поймите и вы: ненависть застилала мне взор.

Дураки те, кто уверен, что войну можно возненавидеть,

лишь столкнувшись с ней лично; это не гуманисты и не пацифисты, это лицемеры. Я побывал на войне в Южной Африке, но нужен ли был мне этот опыт? Разумеется, нет. Войну, государства, нации и религии я ненавижу с детства. Аббертон взрастил мой интеллект и вместе с ним взрастил ненависть к экстазу военных парадов, прославлению машин убийства и обезумевших «родин».

Знаете, я верю в самоубийство. Цепляться за жизнь до конца – это мне чуждо. Человек может уйти, когда пожелает, в этом смысл великой пошлой игры, что мы здесь ведём.

Я хочу уйти сам, но никому не позволю прервать мою жизнь преждевременно и уж тем более не отдам ее в руки негодяев, истребляющих себе подобных и гордящихся этим. Им бы ходить в трауре и посыпать голову пеплом, просить прощения у каждого встречного, а они надевают награды, ходят в форме и презирают штатских. Опухоль, злокачественная киста человечества.

Я ведь вас, вас спасал от тех, кто всегда готов по малейшей прихоти поставить под ружьё и отправить на смерть поколения. За вас я боролся – и потому торопился. Потому столько денег потратил на подкуп и лоббирование, потому зубами вырывал голоса, и толстый ленивый Торре удивлялся моему напору.

«Это всего лишь работа, Ленро, не относись так серьёзно», представьте? Это он мне сказал, будущий генсек, будущий лидер свободного мира!

Мне не нужны слова благодарности. Мысли о спасённых людях не согреют в тяжёлые дни и не дадут надежду. На суде будет что сказать в защиту – и только. Со временем приходит понимание, что проблемы человечества не в формах управления, не в идолах театра, рынка или пещеры – а в идолах рода (словами Бэкона), в несовершенстве нас как вида, иррационального и ограниченного, склонного к психическим эпидемиям.

Поэтому если вы спросите, стоила ли Армия Земли той цены, которую мы заплатили, даже Шанхая, я не буду разглагольствовать и отвечу «да». Мы не добились всего, мы ошиблись и поплатились, но мы шли вперёд. Иногда стоит пытаться снова и снова, даже зная, что ты обречён проиграть. В том, чтобы получать удовольствие даже от тщетных попыток, и состоит эволюционное преимущество лучших из нас, к которым я, понятное дело, себя отношу.

7. Генерал Уэллс (I)

Знал ли о моих убеждениях Уэллс, казалось бы военный до мозга костей? Да, он знал.

И я бы хотел рассказать о нём.

Не только потому, что Уэллс стал важнейшим человеком в моей жизни; я хочу рассказать, кем он был, я хочу его вспомнить. Хочу, чтобы вы вместе со мной услышали сдержанный низкий голос, приятный в застольной беседе и пугающий хладнокровием в гневе. Я хочу, чтобы вы оперлись на его плечо и ощутили твёрдую походку, заглянули в его карие глаза, рассмотрели морщины на лице и шрамы на теле.

Он всегда возвышался над собеседником, и всегда казалось, он слушает тебя одного. Он мало двигался, но энергия выплёскивалась из него наружу. Он любил молчать, и только грудная клетка поднималась и опускалась в медленном ритме дыхания. На широком лбу, на толстой шее и мускулистых руках были видны вздутые вены, но сам он отличался таким здоровьем, что в противоборстве легко завалил бы быка.

Иногда я так и представлял его – голый по пояс, с мулевой матадора, он выходит на арену против быков или диких львов; зрители вопят, по вискам стекает пот, а император в ложе нервничает и мнёт край пурпурного плаща. Он знает: если генерал выстоит, его правлению конец, его худощавую шею перережут преторианцы; и потому он смотрит, бледнея,

как на арене Колизея великан сходитя со зверем, с гиенами, с разинувшим пасть львом, с буравящим землю быком. В этом есть нечто языческое.

Уэллс руками расшвыривает гиен, разрывает пасть льву, валит быка, но бык вырывается и бьёт Уэллса копытами, и густая кровь льётся на арену, толпа ревёт, а сердце императора радуется. Но Уэллс ломает быку позвоночник, медленно встаёт, невзирая на раны, одну ногу ставит на тело быка. Он молча смотрит наверх, в ложу императора. Тот вскакивает, кричит, приказывает убить Уэллса, но преторианцы молча обступают его. Время мелочных и подлых карликов подходит к концу. Начинается время античных гигантов.

Я представляю его рядом с Леонидом в Фермопилах; рядом с Фемистоклом в морском сражении при Саламине; с легионами Траяна или в сенате, спорящим с Катонем; вижу его ведущим слонов на Рим с Ганнибалом или дерущимся против Цезаря с Гнеем Помпеем. Он был рождён стать правой рукой Филиппа и наставником Александра; войти с триумфом на Капитолийский холм, гнать на колесницах в пустынях Нумидии; идти походом сквозь леса Галлии, совершать вылазки за Адрианов вал. Он, а не Катон младший, мог броситься на меч; он, а не Антоний, мог полюбить Клеопатру и проиграть при Акциуме, но выиграть в одах Вергилия, Плу-тарха и Горация.

Развернуть реки, осушить моря, построить и разрушить Храм, висеть вниз головой распятым, вернуться в охвачен-

ный пожаром Рим Нерона, взять в руки само время, как Иисус Навин.

Всесильный Уэллс родился на две с лишним тысячи лет позже. Он не мог надеть костюм и галстук, сделать лицо, подняться на трибуну Организации и врать человечеству.

Такой человек не мог возглавить Армию Земли. Странно, что я сразу этого не понял.

После Африки мы сблизились. Мы часто виделись в Нью-Йорке – чаще, чем требовала необходимость.

Он меня привлекал – в некотором смысле Уэллс был для меня человеком из другого мира, и дело вовсе не во внешнем виде, но в характере и биографии. Характер человека – это его судьба, так говорили греки?

У генерала была непростая судьба. Его родители жили в нищете и рано умерли. Он вырос в бедности на окраине Иерусалима, где с юных лет связался с бандитами – не с городской шпаной, а с настоящими бандами из трущоб мегаполиса. Он чудом избежал тюрьмы и был призван в армию, и его тут же отправили воевать с арабами. С семнадцати лет – и дальше всю жизнь он воевал. Операции в гетто Палестины, крещение огнём в пустыне, военная академия в Британии, десять лет миротворцем в Африке, ранения и потери, конфликт с офицером из-за гибели взвода, отставка – и частная военная компания «Ада».

Её основал Уэллс и трое его сослуживцев. Они начали с консалтинговых услуг и частных лекций, а спустя пятна-

дцать лет «Ада» превратилась в крупнейшую международную ЧВК с разведывательными, научно-исследовательскими и боевыми подразделениями. Её арсенал превосходил арсеналы некоторых стран Европы. Роботы, корабли, танки, вертолёты и даже четыре спутника на орбите – неудивительно, что Уэллса стали опасаться.

Тогда он продал «Аду» и перешёл на работу в Северный альянс. Колоссальный боевой и организационный опыт – и притом отсутствие амбиций в публичном поле, нелюбовь к камерам и церемониям; уникальное и полезное сочетание.

Его боялись и ему завидовали – ясно, что политическое руководство не собиралось ставить его во главе южноафриканской кампании. Его выдвижение на первые позиции, обеспеченное внезапной прямой связью через меня с руководством Организации, стало для многих неприятной неожиданностью.

Враги не могли позволить ему вознестись ещё выше. Хотя Мирхофф оценил работу Уэллса с торговцами оружием и использовал как икону для консерваторов, не думаю, что его терзали сомнения, когда он отставил его в сторону. Генсек был человек хитрый и проницательный, в отличие от Уэллса он не любил конфликтов и избегал конфронтации. За два дня до голосования по резолюции Мирхофф вызвал Уэллса к себе – тот согласился играть в команде и получил утешительный приз.

Вместе с законом об армии Генассамблея принимала па-

кет реформ, прояснявших структуру управления и возможностей Организации. Строго говоря, именно тогда Организация превратилась в мировую полицию и именно тогда полномочия генсека оказались стиснуты между Наблюдательным советом, Совбезом и ГА. Мирхоффа это не устроило, и он решил создать ещё одно ведомство, так называемый Особый комитет Организации (ОКО) – что-то вроде собственной антитеррористической спецслужбы, которая бы аккумулировала данные от национальных разведок, как ЦРУ и МИ-6, и действовала по прямой санкции генсека.

Комитет отчитывался исключительно перед генсеком. Руководить им должен был не функционер, и не штатский, и уж тем более никто из старых разведчиков-патриотов.

Эту должность Мирхофф предложил Уэллсу.

Вы скажете: и это утешительный приз? Возглавить самую влиятельную и засекреченную структуру в мировой истории – вместо того чтобы в почётном звании главнокомандующего просиживать штаны на совещаниях и интриговать в Совбезе? Армия Земли оперирует на всех континентах одновременно, так что основная забота главкома – найти опытных генералов и покрывать их потом перед ГА.

Но правда в том, что должность главнокомандующего дала бы Уэллсу шанс всё изменить. Политический вес, который бы он приобрёл, несравним с закулисным влиянием шефа ОКО. Стань Уэллс главнокомандующим, любое решение в области безопасности генсек был бы вынужден согласовы-

вать с ним. Минусы публичности и рядом не стояли с такой перспективой.

Но Уэллс предпочёл командую игру и ушёл в ОКО, а главным стал удобный для Мирхоффа и политически выгодный Редди.

Логика в его решении присутствовала, и я его принял. Тем более что в тот же день, когда Уэллс сообщил, что уходит в ОКО, он предложил мне стать своим помощником. Меня это более чем устроило – хотя мой прежний руководитель Керро Торре и получил в награду за мою работу должность заместителя генсека и вроде собирался взять меня с собой, воодушевления от работы с ним я не испытывал.

С Уэллсом же мы быстро нашли общий язык. На него я хотел работать. Дело не только в карьере – я действительно проникся к нему.

Пожалуй, он единственный человек, кого я хотел видеть своим наставником и у которого хотел учиться. Не каким-то премудростям политики, а жизни – как он жил и ради чего. Мы с ним часто и откровенно спорили, но я его уважал.

Сегодня я понимаю – таким, как Уэллс, я бы хотел видеть своего отца. Те вещи, которые я обсуждал с ним, я хотел обсудить с отцом (но не успел, ибо мой деспот эвакуировался в мир иной).

Но похожим на него я быть не хотел.

В Древнем Риме я был бы Цицероном, а в Древних Афинах – Алкивиадом, но не Цезарем и не Периклом. Ему нужен

был такой, как я, – шулер, знаток тайников, который проникнет в замок ночью и откроет ворота. А ещё – верный человек, друг, ученик и сын.

Мои слова могут насмешить, но вы бы не смеялись, если бы знали, какой печалью они окрашены. Сколько мёртвых тел у подножия постамента, который я воздвигаю последнему Дон Кихоту, генералу Уэллсу.

Он был мне дорог, я любил его, и уважал, и восхищался им, и погубил его.

Сожалею я об этом? Ничуть.

Но вспоминая, как ранним февральским утром мы встретились в аэропорту Либерти и полетели в европейский штаб ОКО в Цюрихе, как обсуждали за обедом будущее, как он рассказывал мне военные байки про Мали, а я ему – про проклятие Девятой симфонии; как строили Комитет и отправлялись на край света, и страшные дни в Афганистане, Мьянме и Конго... Я чувствую горечь оттого, что отправил на тот свет последнего великана, последнего, кто искренне хотел изменить мир к лучшему.

Жаль, что бескомпромиссная этика привела его к пропасти и столкнула вниз. С другой стороны, такие люди не могут окончить жизнь в музее, превратиться в экспонаты на обозрение туристов.

Его порода вымерла. Гиганты ушли и больше не затопчут нас случайно; мы вздыхаем: «Какое счастье!..» – и радуемся, любуясь на их прощальные следы. Мир обнищал. Гиганты не

вернутся.

8. Кофе с генералом Уэллсом

Здание, где мы расположились, находилось в десяти минутах езды от Цюриха. Через прозрачные стены открывался прекрасный вид на горы и озеро, которые по вечерам окутывал нисходящий туман. Старинные улицы города манили витринами кафе, колокольным звоном, запахами кофе и свежего хлеба, неторопливыми трамваями.

Казалось, время здесь остановилось, и нет на свете огромных монстров-городов, нет радиоактивных кратеров в Африке, нет выжженных ультрафиолетом пустошей Китая, осиротевших городов; всё, что взаправду существует, – альпийская пастушья деревушка и близкая Ривьера.

В этом тихом закутке, скрытом от штормов цивилизации горной грядой и иронией местных банкиров, наша работа приобретала умозрительный характер – наверное, именно поэтому Уэллс не любил европейский штаб и постоянно норовил смыться в какую-нибудь горячую точку; по той же причине я полюбил Цюрих и при первой возможности пытался вернуться сюда и решать проблемы злосчастной планеты, находясь от них как можно дальше.

Это тоже было непросто – особенно в первый год, когда мне приходилось совмещать должности начальника канцелярии Уэллса и его личного помощника.

Приказ о создании ОКО был подписан за день до того, как

мы приземлились в Цюрихе, полномочия ещё не прояснили, команду и штат только предстояло сформировать, бюджета не было, а коллеги из Лэнгли и с набережной Альберта инициативы в общении не проявляли. Мне пришлось лично заниматься оснащением и декорированием кабинета Уэлса (вот где неожиданно пригодился спецкурс по дизайну интерьерера в Аббертоне).

Сам я занял смежный кабинет в штабе и снял небольшую трёхэтажную виллу в Цолликоне. По новым правилам я был вынужден расстаться со своими телохранителями, нанятыми ещё отцом, и заменить их на охрану из ОКО. Ребята, отправившиеся сторожить владения на Ривьере, несильно огорчились: если в Брюсселе и в Нью-Йорке они всего-то провожали меня от дома до работы и обратно, то в ОКО им пришлось бы попотеть.

Как личный помощник Уэлса, я должен был следовать за ним днём и ночью, а генерал не имел привычки нормировать рабочий день или следовать графику. С тех пор как Организация выделила нам борт, самолёт постоянно был заправлен и готов к вылету. Уэллсу ничего не стоило вскочить посреди совещания и отправиться в Камбоджу или в Эквадор, и тамошним службам безопасности оставалось лишь купить машину времени, чтобы успеть подготовиться к визиту.

Личная безопасность его мало заботила, хотя Мирхофф и ввёл его в число наиболее охраняемых руководителей Организации. Наши поездки совершались в условиях полной

конфиденциальности, с батальоном охраны и приведённым в боеготовность спецназом, машинами скорой помощи и врачами.

Зачем требовались врачи, я понять не могу: Уэллс одним своим видом мог поднять на ноги неизлечимо больного. Он мало спал, ежедневно ел мясо, пил по утрам витаминный коктейль и не доверял компьютерам – всю документацию ему приходилось распечатывать.

Мои усилия по обустройству его кабинета пошли прахом: офисную работу Уэллс не любил, и в этом роскошном помещении (где висели, между прочим, добытые мной оригинальные полотна дадаистов) больше времени проводил я сам – принимая подчинённых, выслушивая доклады и составляя для него краткие сводки. Вообще, если собеседник не горел желанием выхватить нож и приставить его к горлу Уэллса, генералу он казался неинтересным.

Общение со скучными, по его мнению, клиентами оставалось мне. Год спустя Уэллс наконец-то нашёл подходящего начальника канцелярии, и я рассчитывал хоть немного расслабиться. Но генерал назначил меня своим спецпредставителем, и мне пришлось летать на совещания в Ньюарк, курировать работу региональных подразделений и иногда исполнять миссии особой важности – как, например, в Шанхае.

Существовало четыре точки зрения на то, каким должен быть ОКО. Первую и самую скучную представляли так называемые «Регионы» – им казалось, мы должны заниматься

исключительно антитеррором, причём лишь в случае, если страна не может справиться своими силами и запрашивает поддержку.

Вторая точка зрения была у администрации Мирхоффа: они видели нас своими длинными руками. Туда, куда Организация не могла дотянуться легально, в серых зонах международного права, мы должны были гарантировать её интересы и защищать от явных и неявных угроз.

Третья точка зрения – моя собственная – заключалась в том, что у нас есть политический потенциал. Борьба с террором – важное дело, но угрозу терроризма сильно преувеличивают; что действительно представляет опасность для мирового порядка – это политическая нестабильность, фашистские и милитаристские режимы, страны-изгои и военные кризисы. Я видел роль ОКО в том, чтобы победить оппортунистов и проложить дорогу к единству Земли.

Наконец, существовала последняя, самая важная позиция – её втайне разделял сам Уэллс. Контроль над пространством Сети, цифровая и полуполигальная слежка – этим занимался каждый, кому не лень, от государственных спецслужб до частных и ТНК. По Европе и Америке шли судебные процессы, законодательство резали по живому, а доблестные рыцари жучка и кабеля продолжали собирать информацию о миллиардах жителей Земли.

Уэллс соглашался, что цель оправдывает средства, но добавлял: нужно прояснить цель. Он считал, что подобная ин-

формация, фактически полный объём знаний о каждом, кто живёт на планете, ни в коем случае не должна становиться предметом торга в руках грызущихся спецслужб. Он был уверен, что только ОКО, и исключительно потому, что им руководит сам Уэллс, имеет право и возможность употребить эти данные во благо.

Знаете банальную метафору, когда тайную организацию изображают как осьминога, который щупальцами опутывает мир?.. Не поймите превратно, но Уэллс строил именно такой ОКО – всевидящий, всезнающий, близкий к всемогуществу. И тот ОКО, который существует сегодня, построен по его чертежам. Этим легко объяснить его ущербность, несовершенства и вредоносность. Уэллс сделал уникальный инструмент, но настроил его под свою руку.

Наверняка вы слышали, как ОКО называют «всемирным КГБ» – этот штамп родился как раз в пору моей работы. Но не заблуждайтесь: Уэллс тогда только начинал, и даже я, ближайший его соратник, идеологически вполне солидарный, не представлял, до какой степени в будущем он раскрутит полномочия Комитета.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.